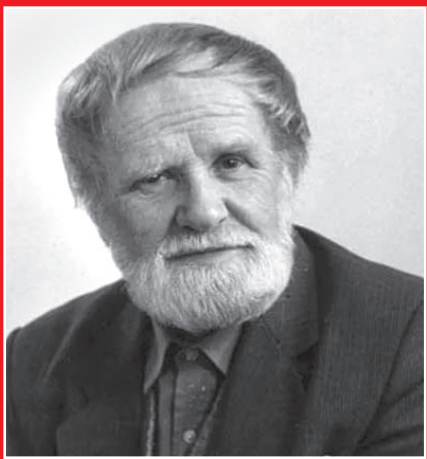




Прекрасно однажды в России родиться!
В. Коротяев

№ 5 (19), октябрь 2017 Издание Вологодского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз писателей России»

КЛАССИКУ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВАСИЛИЮ ИВАНОВИЧУ БЕЛОВУ — 85



ЭТОТ номер «Вологодского литератора» полностью посвящен бесконечному таланту нашего земляка Василия Ивановича Белова. Нет человека, который бы остался равнодушен к его творчеству, он близок и понятен каждому из нас. Белов объемно и образно показывает всю глубину русской души, возвышение человеческого духа в каждодневном течении жизни. Живое слово писателя, блистательный русский язык, вобравший лучшее из народного говора, непременно вызывают у читателя чувство любви к родной земле. А любовь и гордость за свой край, за своих предков, за самого себя — это путь к возрождению нации. Поэтому наша общая задача — не только бережно относиться к наследию Белова, но и преумножать его с помощью таких значимых событий, как Всероссийские Беловские чтения, которые ежегодно проходят в Вологде. Благодарен Вологодской писательской организации за вклад в подготовку чтений, создание этого уникального номера газеты и в целом за поддержку и развитие неподдельного читательского интереса к творчеству Василия Ивановича Белова!

Депутат Государственной Думы РФ Евгений ШУЛЕПОВ

ЗОЛОТОЕ СЛОВО

Заветы В. И. Белова

Древнеславянский язык, «кровный» родитель русского, мы получили от Бога, и нельзя с ним обращаться кое-как. На мой взгляд, прежде всего, нужно спасать кириллицу. Наш разгром начинается с того, что кириллицу вытесняет латинский шрифт. Порабощение народа начинается с отвержения родного языка, с раздвоенности культуры. В существующем языке за последние годы произошли огромные изменения не только в лексике, но и синтаксисе, пунктуации. Идет явное обеднение языка по количеству слов, замена их на чужие. Русский язык в значительной мере утратил свойственные ему ритмичность и тональность. Тихой сапой проник в наш быт, так называемый сленг, людей приучают думать и чувствовать не по-христиански и не по-русски.

Еще в недавнем прошлом в жизни русского Севера сказки, песни, причитания были естественной необходимостью, органичной и потому неосознаваемой частью народного быта. Устное народное творчество жило совершенно независимо от своего научного воплощения, совершенно не интересуясь бледным своим отражением, которое мерцало в книжных текстах фольклористики и собирательства.

Фольклорное слово, несмотря на все попытки «обуздать» его и «лаской и таской», сделать управляемым, записанным от обычного образования, слово это никогда не вмещалось в рамки книжной культуры. Оно не боялось книги, но и не доверяло ей. Помещенное в книгу, оно почти сразу хирело и блекло.

Могучая музыкально-речевая культура, созданная русскими, включала в себя множество жанров, множество видов самовыражения. Среди этого множества отдельные жанры вовсе не стремились к обособлению. Каждый из них был всего лишь одним из камней в монолите народной культуры, частью всей необъятной, как океан, стихии словесного творчества, неразрывного, в свою очередь, с другими видами творчества.

...существует некий закон взаимозаменяемости, что ли. Он не позволяет оборваться необходимой традиции в отечественной культуре. То, что не успело сделать одно поколение, сделает другое. Что не сумела сказать поэзия, доскажет проза. Где промолчит литература, там в полную силу развернется музыка или какой-либо иной вид искусства. Но жизнь национальной культуры ни на минуту не прекращается! Народная жизнь обладает,

по-видимому, и свойством регенерации, свойством восполнения, как восполняются или даже возрождаются почти что из ничего некоторые растения и организмы...

Очень вовремя для России появился В.М. Шукшин. Наша литература в буквальном смысле всегда подпитывалась Сибирью. Могущество России, по словам Ломоносова, «прирастает будет Сибирью». Нет, не зря мои вологодские пращурь так стремились в просторы Сибири. Дела Семена Дежнева и Ерофея Хабарова ох как пригодились России, пригодятся и впредь. И мне не совсем ясен смысл рассуждений некоторых «патриотов» об излишней, якобы, широте русских просторов, а заодно и русской натуры. Если таким патриотам Россия кажется слишком широкой, то что говорить о наших врагах, существование коих нынешние либералы вообще отрицают? Недруги-то чикаться с нами совсем не станут. Они уже выпускают географические карты с названиями сибирских американских штатов... Эти политические портные давно уже мысленно раскроили Россию на мелкие лоскутки. Журналисты однажды спросили Валентина Григорьевича, как он смотрит на эмиграцию. Можно было и не спрашивать, это было и так ясно. Добровольный отъезд из России Распутин считает предательством родины. «А если тюрьма?» — не унимался журналист. Смешно рассуждать с автором «Последнего срока» относительно эмиграции, т. е. бегства с родины! Даже самый забудыжный архаровец отнюдь не всегда и не каждый по доброй воле согласится жить на чужбине. А тут с легкостью необыкновенной согласны жить где угодно, лишь бы было тепло и сытно... Нет, в «этой стране» еще далеко не все судят по себе, не всем все равно, где жить и где небо коптит.

Главное свойство талантливого человека — это искренность. Она обязательно присутствует во всех истинно талантливых произведениях искусства. Почти каждый из нас четко ощущает разницу между фальшивым, притворным, неискренним, нарочно выдуманным и тем, что сделано искренне... В понятии человеческого таланта есть какая-то почти религиозная тайна.

По моим понятиям писатель — это очень впечатлительный человек, не обладающий естественной для человека способностью забывать и вынужденный освобождался от непосильного труда своим способом. Писателями становятся вовсе не от хорошей жизни. Признак настоящего писателя в наше беспокойное время: нестихающая совесть. Способность прощать всех, кроме себя.

Без совести никакой литературы нет.

Василий БЕЛОВ

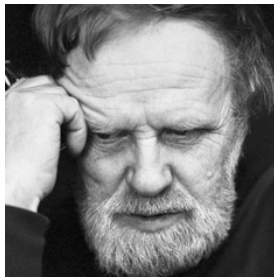
МОЛИТВА

О, Боже мой! В тиши лесов,
В безлюдье дедовских угодий
Освободи от праздных слов
И от назойливых мелодий.
От суеты и злобы дня
Спаси и впредь, спаси меня.
Покуда в душах ералаш
И демократы жаром пышут,
Я обновлю колодец наш
И почию родную крышу.
Не дай устать моим рукам,
Ещё — прости моим врагам...
От хитрых премий и наград
Убереги в лесу угрюмом...
Но вечевой Кремля набат
Не заслони еловым шумом!
...Не попусти сгореть дотла,
Пока молчат колокола.

Осознанно и глубоко чувствую ощущение счастья... Может быть, счастье сквозит в лесной свежести или источает его янтарь болотной морошки?.. Еще не пришла земная усталость, еще не полны зеленой кровью деревья и травы моей родины. И речка наша чиста, и совесть моя, когда я ныряю, вернее, падаю в отраженное омутом небо. Разве это не радость, разве это не счастье? Великое счастье иметь просто друзей, а у меня, кроме этой зеленой родины, есть родные. Пусть они далеко от меня, но они рядом, я слышу и вижу всех. Я настолько счастлив, что по запаху различаю сосновый, березовый и ольховый дым... Курлыкают журавли, ночующие в холодном поле, а в моем доме звучит бессмертная «Осенняя песня». Всё собралось в этих увядаемых звуках: и многоцветье полевых трав, их многогранные запахи-голоса, сливающиеся в один ароматный хор, и высокое солнце в щадящем неполном зените, и горизонт, искаженный струями марева, и отрада полуденной тени. Никуда ничего не исчезло... Я слушаю гениальные звуки, проникающие и вечные. Они заставляют думать, что разницы между живыми и мертвыми не существует. Душа бессмертна, потому что одна и ни на кого не похожа.

СЛОВО ПИСАТЕЛЯ. XXI ВЕК

Василий БЕЛОВ

СПАСЕМ ЯЗЫК –
СПАСЕМ И РОССИЮ

РАЗГОВОР о языке — очень серьезный разговор. Достаточно вспомнить Евангелие от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Язык — это народ. Когда я говорю о спасении России, я говорю о спасении языка.

Спасать, прежде всего, нужно кириллицу, потому что начинается наш разгром с того, что кириллицу в России вытесняет латинский шрифт. Я вам напомню о том, что разрушение Югославии началось именно с этого. Все началось с безобидных вывесок, с безобидных объявлений на латинском шрифте — и кончилось (да еще не кончилось!) видите чем. Страшные вещи происходят: кириллица вытесняется насильно, целенаправленно.

Конечно, язык зависит от уровня общей культуры, народной нравственности, прежде всего. Но нельзя забывать, что разрушение русской национальной культуры, языка и музыки было запланировано. Никакой стихийности тут нет, все шло так, как было задумано, — уничтожение нашей государственности, нашей нравственности, нашего языка, нашей культуры. И тут нечего хитрить, нечего бояться, надо прямо сказать, что мы порабощенный народ; может, пока порабощенный не до конца, но порабощенный, надо это признать и исходить из этого. Как освободиться от гнета, от ига, надо думать сообща, соборно. И если мы будем думать, то обязательно придем к тому, что освобождение может быть только на основе православной веры.

Наша культура, наша духовность где-то во времена Пушкина пошла по двум направлениям: светская культура и культура чисто духовная, религиозная. Они как бы разошлись, и один, — чаадаевский или декабристский путь, а другой — путь

наших священнослужителей, духовенства. Это было трагическое и, как мне кажется, искусственное разделение.

Нельзя делить культуру на культуру Пушкина и культуру Игнатия Брянчанинова. Конечно, они и сами в своем роде хороши, но у них один источник. Этот источник — русский народ и Православие. И когда я читаю сейчас аскетические опыты святителя Игнатия — я восхищаюсь чистейшим русским языком. За век с лишним ничего не сделалось с этим русским языком, он такой же чистый и сейчас. Язык Игнатия-святителя — это превосходный язык, в него ничего не привнесено грязного и нечистого, я бы сказал, иностранного. Мысли выражены очень четко.

О плановом уничтожении языка можно говорить очень много. Но достаточно сказать о словарях наших. Словарей должно быть столько, сколько нужно, должны быть сотни самых различных словарей. А у нас же, вроде бы, какая-то норма существует на них.

И какие это словари?

В словаре Даля 220 тысяч слов, хотя в нем отражена отнюдь не вся русская лексика. Я знаю десяток или два коренных русских слов, которых нет в словаре Даля.

А в словаре Ожегова? Там ведь всего лишь около 80 тысяч слов. Вот как у нас получается: из двухсот двадцати тысяч слов сделали всего семьдесят. Да и то половина с пометками: «устарелое», «областное», «просторечное», «специальное» или еще какое-нибудь. Так и прививали у нас недоверие к собственному языку.

Но ведь произошли изменения не только в словарном, лексическом составе, произошли изменения в пунктуации, синтаксисе. Ведь язык — это такая разнобразная стихия! В нем нельзя сводить все только к одной лексике. И здесь наблюдается явное обеднение языка.

Язык обеднен не только по количеству слов, он еще обеднен и интонационно. Он утратил ритмичность и тональность.

Говорить об исключении иностранщины из нашей лексики вполне правомерно. И нечего этого бояться. Надо безжалостно исключать «чужесловы» из нашей речи. Безжалостно выбрасывать. А нам прививают намеренно это лексику. Я понимаю, когда пишут медицинский рецепт на латыни. Но когда журналисты намеренно всовывают в статьи иностранные термины, нарочно, как бы презирая русский язык, это те журналисты, которые вообще не любят Россию и которым

все равно где жить и как говорить, лишь бы было сытно. И сами лингвисты? Они на самом коренном русском слове могут поставить пометку: разговорное, областное.

С В. Н. Крупиным мы были в Японии, оказались в гостях у одного профессора, и он нам показывает сборник «русских» частушек, изданный в Израиле. Забыл фамилию израильского профессора, который писал предисловие. Частушки абсолютно похабные. Весь сборник целиком похабный. Я смею вас уверить — это не народные частушки. Есть люди, которые специально сочиняют эти мерзопакости, а выдают за творчество народа. Или берут действительно народные частушки, но что стоит человеку, искушенному в сочинительстве, переделать текст и из нормальных стихов сделать похабину? Издают целые сборники большими тиражами и распространяют по всему миру. А на основании подобных сочинений делается вывод, какой русский народ паскудный. И тот же японский профессор воспринимает эти частушки как народные. А нашим доказательствам, что это не народное творчество, по-моему, он так и не поверил.

Уничтожение русского языка идет одновременно с уничтожением русского народа. Самое главное сейчас — спасение самого народа, который покорен неизвестно кем, какими силами, который идет на поводу неизвестно у кого.

Я не знаю, что получится из закона, который мы предлагаем принять в Думе. Я думаю, что спасение языка не совсем будет зависеть от этого закона. Но все равно не нужно от него отказываться. По крайней мере, закон этот должен разбудить спасительное чувство национального.

Белов. Вологда. Россия



Нравственный закон универсален, и он один на всех. Величайшее чудо состоит в том, что человек, живший по уму и по совести в незапамятные времена, скоро находит путь и к нашему сердцу поверх любых барьеров. В преемственности нравственной традиции заключается неубывающий духовный капитал человечества, его уникальное достоинство. Но в отдельном человеке нравственность создается каждый раз заново, и никто не пройдет за нас путь, назначенный нам.

Как много их, тех маленьких страдальцев, тех мучеников, принявших самую раннюю смерть! За что, почему они погибли? Печальные детские глаза смотрят на нас из прошлого. Помню, в начале войны наши матери мыли полы, лавки, окна в брошенных за годы коллективизации домах. Мы, ребята, с нетерпением ждали своих ленинградских сверстников, но так и не дождались. Может быть, как раз те ребята, которых мы ждали в Тимонихе, чтобы вместе пережить лихолетье, утонули в холодной ладожской полынье. И никто уж не скажет теперь, сколько среди них было будущих поэтов и музыкантов. Такой вопрос, впрочем, слегка отдаст кошунством, — ведь право на жизнь для всех одинаково...

Да, право на жизнь одинаково для всех рожденных и, может, даже едва зачатых.

дарований, тем более не способствовало оно тогда. Лишь очень немногие, такие, как Николай Рубцов и Валерий Гаврилин, каким-то чудом выстояли в борьбе с невзгодами, смогли получить образование и уберечь себя от идеологических и прочих вирусов.

Николай Михайлович Рубцов почти не рассказывал о своем детстве. Он стыдился сиротства, словно это была только его личная беда, а не беда всей страны. Виною всему была война. Но почему же теперь, в мирное время, так много у нас сирот, вернее, полусирот, воспитываемых без отцов? И как влияет сей странный феномен на раскрытие и становление природных возможностей? Я убежден, что плохое это влияние, но сейчас речь не об этом. Сейчас хочется поразмышлять о том, как, по каким причинам детдомовский мальчик становился вдруг художником, выразителем народных чаяний, имеющим право создать такую строку:

Россия, Русь! Храни себя, храни...

Я выписываю именно эту строку не для того, чтобы напомнить о рубцовской могиле, а для того, чтобы сравнить ее с другой строчкой, строчкой из песни. «Любите Россию», призывает по радио известная певица. В чем разница? И почему рубцовская строчка звучит естественно, а строчка из песни фальшиво? Почему далеко не каждый достоин подобной творческой смелости? Другая тоже популярная песня призывает: «Жалейте матерей»...

Использование народных святынь и самых высоких нравственных понятий в фискальных, так сказать, целях — не такая уж редкость не только в музыке, но и в поэзии, и в хореографии. Посредственные стихотворцы, музыканты, хореографы смело эксплуатируют внешнюю, «балалаечную» форму народной культуры, низводя эту культуру до своего уровня. Конечно, ей, народной культуре, ни тепло, ни холодно от всего этого. Однако дело это и не совсем безобидное, поскольку неискушенный читатель, зритель, слушатель псевдохудожественность принимает сгоряча за подлинное искусство, и выработка истинного вкуса к

прекрасному у него затормаживается. Иногда навсегда. Аплодисменты, вызванные акробатическими прыжками, визгом и растягиванием бутафорских тальянок, до сих пор звучат на концертах знаменитых и самодельных коллективов. Но подобным танцорам-прыгунам, танцорам-волчкам надо присваивать не звания заслуженных артистов, а звания заслуженных мастеров спорта. Такое мастерство не имеет никакого отношения к истинно народному грузинскому, украинскому или какому-либо другому танцу.

Натурализм в композиторской деятельности проявляется в поверхностной обработке народных мелодий, в беззастенчивом, прямом и холодном заимствовании. Точь-в-точь как делают это так называемые сказочники, пишущие на сюжеты народных сказок многоактные пьесы, либретто, сценарии. Не менее распространен натурализм, рожденный самой художественной средой, когда композитор, иногда даже непроизвольно, использует ритмы и мелодии своих же коллег. Другое проявление натурализма легко просматривается в смешении двух, а иногда и трех национальных признаков. Песенные гибриды, сочетающие в себе, например, азербайджанскую и украинскую мелодии, не трогают слушателей ни в Киеве, ни в Баку.

Вообще, искусству как живому и постоянно пульсирующему целому, по-видимому, свойственны и срывы, и временные недуги, и несерьезные увлечения. Так, нужно было появиться Николаю Рубцову и дюжине других серьезных поэтов, чтобы стала, наконец, понятна сорочья трескотня модных и очень громких стихотворцев, которые публицистику и стихотворный фельетон, а также рифмованные слова-конструкции выдавали за подлинную поэзию. До этого необычность и новизна приравнивались критиками к таланту, никто не хотел знать, что отнюдь не всякая новизна талантлива.

В. Белов. Василий БЕЛОВ

ИЗ НАРОДНЫХ ГЛУБИН

ГАЗЕТНАЯ рубрика «Никто не забыт, ничто не забыто» не лишена все же праздничного максимализма: нельзя жить, не забывая страданий. Наша память надежно хранит радость победных весенних дней. Многим людям еще снятся россыпи военных салютов, звучание гимнов и маршей. Особенно памятны гудки паровозов, которые бежали по необозримым родным краям, развозя по домам солдат-победителей. Но мы не хотим вспоминать соленую окопную кровь и желтизну санбатного гноя, пронизывающую жуть женских рыданий и смертную безысходность в глазах дистрофиков. Может быть, это и справедливо. Но справедливо ли?

Вот, сейчас, в эту секунду, мне вспомнились трагические, написанные примерно за сто лет до ленинградской блокады строчки Н. А. Некрасова:

*Равнодушно слушая проклятья
В битве с жизнью гибнущих людей,
Из-за них вы слышите ли, братья,
Тихий плач и жалобы детей?*

Так же как право на спокойное детство, на крышу над головой и хотя бы малую толику родительской нежности. Судьба многих детей, которых смерть во время войны пощадила, судьба миллионов сирот не менее трагична. Человек, лишенный родных, даже будучи взрослым, испытывает горечь обделенного, а что говорить о горечи беззащитного детского сердца?

Наша культура была обескровлена годами войны и послевоенными бедами. Можно заново выстроить города и заводы, но кто вернет нам загубленные сиротством таланты?

Живо помню вокзально-железнодорожных своих ровесников, кормившихся кто как сумеет. Они удирали из детдомов либо от злых родственников, ездили в поездах. Декламировали какие-то стихи, что-то пели и даже показывали фокусы. Но эти ребята композиторами не становились, в Литературный институт не принимались. Сиротство и теперь не способствует раскрытию природных

Белов. Вологда. Россия



За тысячи лет исканий, войн, страданий и изощрений в поисках счастья человек ничего не придумал для себя лучше лесной свободы, усталости от обычной ходьбы, ржсаного ломтя с пережжсенной солью, лучшие смояного запаха и гуликих ударов шишек об родимую землю. Тонкий свист рябчика, красноватые окна дома в сумерках, костер, раздвигающий тьму, сосновая лапа на окне в банке из-под консервов, белый цвет земляники, тысячи самых неприметных и доступных вещей...

ХОЛМЫ

Он пробудился от какой-то смутной шемящей тревоги. Глядел на яркий и мощный солнечный пук, бьющий в конце бревенчатого сарая, и старался понять, чем рождена эта смятенная и чем-то приятная душевная боль. Старался припомнить, что ему снилось, но образы ночного сна ускользали, оставляя неудовлетворенность.

Солнце било и в узенькие щели пазов. Ласточки со свистом влетали через окно, прижимаясь хвостиками к стропилам, щебетали, потом вновь улетали на улицу. Пахло травяной зеленью и высыхающей росой. Где-то на речке кричали ребятишки, купающиеся спозаранку, а в поле стрекотала конная косилка.

В доме никого не было. Мать, по извечной привычке, наверное, со старушечьим стоном и оханьем ушла на покос. Жена с двумя ребятишками каждое утро ходила загорать и купаться к дальнему омуту.

Он вспомнил вчерашнюю встречу со своим деревенским сверстником и вдруг понял причину своей шемящей душевной тоски.

Вчера он не успел осознать, каким молодым, постаревшим выглядит его деревенский сверстник. А ведь он даже чуть постарше сверстника, и сегодня ночью, во сне, пришло ощущение необратимости...

До этого он все еще считал себя молодым, а тут, во сне, в подсознании, вдруг понял, что молодость давно кончилась, что он разменял вторую половину своей жизни. «Разменял»... Какое странное слово.

В деревне никого не было. Как тогда, в сенокосном детстве, стояли у ворот домов батожки, и одни стрижи с ласточками стригли над крышами синеву теплого воздуха. Солнце с утра нагревало мягкую дорожную пыль.

Он вышел в зеленое, звенящее кузнечиками поле и на ходу медленно обвел взглядом родные, много лет не виденные окрестности и деревни. Он ощутил сейчас какое-то странное радостное и грустное чувство причастности ко всему этому и удивился: «Откуда он взялся и что значит все это? Где начало, кто дал ему жизнь тогда, ну хотя бы лет четыреста назад? Где все его предки и что значит, их нет? Неужели теперь все они это и есть всего лишь он сам и два его сына? Странно, непостижимо...»

Он вышел на крутой и зеленый холмик, огибаемый голубой озерной подковой. Купол церкви плыл в небе, плыл в редких белых облаках, плыл и все не мог никуда уплыть. Пчелы тихо жужжали над купами верб. Внизу от ветра и солнца мерцало озеро, голубизна, пронизанная лучами, темнела, дробилась в своем бесконечном изменении. А здесь, на холме, было тихо и зелено. Зной истекал в небо, искажая лесной горизонт волнистыми вертикальными струями. Не в масть серым, реденьким, словно захмелевшим от времени, крестам белел свежий штакетник, и арка новых основных ворот плыла в небе вместе с церковным куполом.

Он долго бродил по холму, искал могилы и не находил их, пробираясь меж сильных молодых лопухов. Могила тетки оказалась далеко за оградой, он узнал ее по камню. Но где же лежит бабка? Он помнил, что бабушкина могила была около верб, но ничего не нашел и сел на

чей-то еще не очень давнишний холмик. «Да, четырех прабабок и искать нечего, если даже бабушкина могила затерялась... А ведь здесь где-то лежит и вторая бабушка, бабушка по отцу... Но где же она? Ни слуху, ни духу, все сровнялось, заросло травой и лопухами...»

Вдруг его впервые обожгла, заставила сжать зубы простая, ясная мысль. Никогда раньше не приходила она в голову. Здесь, на его родине, даже кладбище только женское. Он вдруг вспомнил, что в его родословной ни одного мужчины нет на этом холме. Они, мужчины, родились здесь, на этой земле, и ни один не вернулся в нее, словно стесняясь женского общества и зеленого этого холма... Поколение за поколением они уходили куда-то, долго ли было сменить граблевище на ружье, а сенокосную рубаху на защитную гимнастерку? Шли, торопились, будто на ярмарку, успев лишь срубить дома и зачать сыновей. И вот сейчас на родине, одинокие даже в земле, лежат прабабки и бабушки.

Он закурил. Изображение на сигаретной коробке впервые заставило его

поклажу на крыльцо соседки и ступаю в солнечное поле, размышляя о прошлом.

Смешное детство! Оно вписалось в мою жизнь далеким неверным маревом, раскрасило будущее яркими мечтательными мазками. В тот день, когда я уходил из дому, так же, как и сегодня, вызванивали полевые кузнечики, так же лениво парил надо мной ястреб, и только сердце было молодым и не верящим в обратную дорогу.

И вот опять уводит меня к лесным угорам гибельная долгая гать, и снова слушаю я шум летнего леса. Снова торжественно и мудро шумит надо мной старинный хвойный бор, и нет ему до меня никакого дела. И над бором висит в синеве солнце. Не солнце — Ярило. Оно щедро, стремительно и бесшумно сыплет в лохматую прохладу мхов свои червонцы, а над мхами, словно сморенные за пряжей старухи, дремлют смолистые ели; они глухо шепчут порой, как будто возмущаясь щедростью солнца, а может быть, собственным долголетием. Под елями — древний запах папоротника. Я иду черной лошадиной тропой, на лицо липнут невидимые нити паутины, с дет-

ЗДЕСЬ, НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ

вспомнить, что один из его предков погиб в Болгарии на войне с турками. Об этом рассказывала бабушка. И он с горькой иронией подумал о несправедливостях женской судьбы: прадеду и тут повезло. Может быть, над его, прадедовой, могилой стоит четырехгранный памятник, поставленный болгарами славным героем Шипки. А могила прабабки затерялась...

Он думал о том, что и деда также не обделила судьба: наверное, приятнее лежать в маньчжурском холме, когда об этом холме написаны романы и повести. Когда в музеях толпятся у батальных полотен потомки, а печальные вальсы о маньчжурских холмах звучат по радио. А бабушкина могила исчезла, нигде не видать ни креста, ни камня.

Он погасил сигарету, но вновь закурил: что это? Черт возьми, ведь отец его, отец обставил. Пожалуй, и деда и прадеда... Нигде в мире нет такого грандиозного, такого могучего памятника, как там, на Мамаевом кургане. Он вспомнил, как прошлым летом был в Волгограде, как целый день ходил по Мамаеву кургану. Холм, взявший отца в свои недра, был велик и печален, громадная скульптура, венчавшая вершину, бросала на город исполинскую тень. В зале воинской славы еще шли работы, но он, сын погибшего на Волге сержанта, все же увидел свою фамилию на гранитной стене...

Ушли, все ушли под сень памятников на великих холмах. Ушли деды и прадеды, ушел отец. И ни один не вернулся к зеленому родному холму, который обогнула золотая озерная подкова, в котором лежат их жены и матери. И никто не носит сюда цветы, никто не навещает этих женщин, не утешает их одиночество, которое не кончилось даже в земле.

Он сидел под вербой на зеленом, тихом, знойном холме и думал об этом.

А может быть, придет и его черед? Идти дорогой мужских предков, к чужим неродимым холмам?

НА РОДИНЕ

И вот опять родные места встретили меня сдержанным шепотом олышаника. Забелела чешуей драночных крыш старая моя деревня, вот и дом с потрескавшимися углами. По этим углам залезал я когда-то под крышу, неутомимый в своем стремлении к высоте, и смотрел на синие зубчатые леса, прятал в щелях витых кражей нехитрые мальчишеские богатства.

Из этой сосновой крепости, из этих удивительных ворот уходил я когда-то в большой и грозный мир, наивно поклявшись никогда не возвращаться, но чем дальше и быстрее уходил, тем яростней тянуло меня обратно...

Старый наш дом заколочен. Я ставлю

ским беззащитным писком вьются передо мной комары, хотя кусают они совсем не по-детски. Мой взгляд останавливается на красных, в белых накрапах, шапках мухоморов, потом вижу, как дятел, опершись на растопыренный хвост, колотит своим неутомимым носом сухую древесину; в лицо мне хлещут ветки крушины, и вот уже я на сухом месте, и нога едет на скользких иглах.

Загудел в сосенной бронзе сухоросный ветер, и сосны отозвались беззащитным ропотом, и мне кажется, что в их кронах вздыхает огромный богатырь-тугодум, который с наивностью младенца копит свою мощь не себе, а другим. Под это добродушное дыхание, словно из древних веков, нечеткой белопарусной армадой vyplывают облачные фрегаты.

Мне кажется, что я слышу, как растет на полях трава, я ощущаю каждую травинку, с маху сдергиваю пропотелые сапоги и босиком выбегаю на рыжий песчаный берег, снова стою над рекой и бросаю лесные шишки в синюю тугую воду, в эту прохладную русалочью постель, и смотрю, как расходятся и умирают водные круги.

Тихая моя родина, ты все так же не даешь мне стареть и врачуешь душу своей зеленой тишиной! Но будет ли предел тишине!

Как хитрая лисичка, вильнула хвостом моя тропка и затерялась в траве, а я выхожу не к молодым березам, а к белым сказкам моей земли. Омытые июльскими дождями, они стыдливо полощут ветками, приглушая двухотный, непонятно откуда слышимый голос кукушки: «Ук-ку, ук-ку!» — словно дует кто-то коротко и ритмично в пустую бутылку. И вновь трепетно нарастает березовый шелест.

Я сажусь у теплого стога, курю и думаю, что вот отмахнет время еще какие-то полстолетия, и березы понадобятся одним лишь песням, а песни тоже ведь умирают, как и люди. И мне чудится в шелесте берез укор вечных свидетельниц человеческого горя и радости. Веками роднились с нами эти деревья, дарили нашим предкам скрипучие лапти и жаркую, бездымную лучину, растили пахучие веники, розги, полозя, копили певучесть для пастушьих рожков и мстительную тяжесть дубинам...

Я выхожу на зеленый откос и гляжу туда, где еще совсем недавно было так много деревень, а теперь белеют одни березы. Нет, в здешних местах пожары не часты, и лет пятьсот уже не было нашествия. Может быть, так оно и надо? Исчезают деревни, а взамен рождаются веселые, шумные города... Я обнимаю родную землю, слышу теплоту родимой травы, и надо мной качаются купальницы с лютиками.

Шумят невдалеке сосны, шелестят

березы. И вдруг в этот шум вплетается непонятный нарастающий свист, он разрастается, заполняет весь этот тихий зеленый мир. Я смотрю в небо, но серебряное туловище реактивного самолета уже исчезает за горизонтом.

Как мне понять, что это? Или мои слезы, а может быть, выпала в полдень скупая соленая роса?

ЗОВ РОДИНЫ

Сидел я у окна в Тимонихе... Как раз в той позе, как когда-то сидела моя мать Анфиса Ивановна, когда поджидала меня.

Она ждала меня сначала из Азлы, деревни Когарихи, где я заканчивал семь классов, потом ждала из Пундоги или из станции Харовской, куда я пешком ходил вступать в комсомол. Ждала из Ленинграда, где я служил в армии. Потом частенько ждала из Вологды, еще чаще и нетерпеливей ждала, когда уезжал за границу. Сидит и ждет, бывало, весь световой день, потом и с керосиновой лампой. Но тогда уже приходилось ей уйти от окна. Ждала из Парижа и Рима, куда я часто ездил (в одном Риме бывал раз пять). А мать каждый раз ждала моего возвращения. Кстати, я служил в Красном Селе, где служил и мой отец Иван Федорович. Демобилизовался я, будучи ефрейтором, у отца были какие-то треугольнички.

Так вот, сидел я у окна в Тимонихе, размышлял о судьбе, глядел на дорогу, где появлялись уже и машины. В детстве главной машиной был велосипед. Если на горизонте появлялся велосипедист, то мы, ребятишки, бежали открывать за гостинец отводок, то есть ворота в деревню.

Дорога раздваивалась, и какое-то время бежала вдоль речки, а за речкой — деревня Вахруниха и деревня Артемовская, где меня крестил какой-то бородатый священник (событие описано в моей книге «Час шестый»).

Шурка Федотова, мать-героиня, была убита мужем Арсением, он работал лесником, причем не из ружья убита, а самой обычной лопатой, которой копают картошку. Я разглядывал речку, дома в Вахрунихе и Печихе, дорогу вдоль речки Сохты. И вдруг появилась и впрямь машина. Крытый уазик. Остановилась. Из машины вылезли двое мальчишек, один учился в четвертом классе, другой во втором или даже в первом. Появилась и вторая машина. Тоже остановилась, вылезли из нее, вроде милиция, но не в форме. Эти быстренько посадили ребятишек к себе или завернули первую машину в обратном направлении, я уже не помню.

Прошло много лет, уже умерла моя мать, караулившая мой приезд целыми днями. Двоих мальчишек отправили обратно в Харовск в интернат, где они воспитывались.

Я знаю, что такое интернат, знаю, как хочется домой. А мальчишки были как раз Шурки Федотовой, которую убил Арсений.

У моей матери была медаль материнства, а Шурка Федотова была матерью-героиней. Мальчишки знали, куда ехали. Они ехали на свою родину...

Арсения-убийца, конечно, угодил в тюрьму. Но что он думал, когда убивал лопатой Шурку? Не знаю. Не знаю да и знать почему-то не хочу. Но что чувствовали два мальчика, путешествующие сквозь дожди и туманы домой, на родину, это я знаю.

Они бежали из интерната. Но бежали домой к убийце отцу. Что такое родной дом, это я хорошо знал. Моего отца убило на войне на фронте, а тут убийца родной отец. Они не дошли до родного дома каких-то трех-четырех километров, а их завернули обратно в интернат.

А у меня в глазах каждый дом в Тимонихе, откуда выходила Шурка Федотова замуж. В деталях вижу и дом в деревне Алферовской, наконец, знаю и дом в деревне Дружинине, где Шурку постигла злая женская доля. А убийца Арсений что, я видел, как он вернулся из тюрьмы. Ему что, отсидел свое и шито-крыто. А Шурки-то нет... А Сталин знал, что делал, возвел Шурку в герои, хорошо знал...

А я, грешный, любой власти могу предъявить материнскую медаль материнства. Хоть Горбачеву, предателю, хоть иуде Ельцину, хоть нынешнему президенту Путину. Мне не стыдно ни за отца, ни за мать.

В. Белов

Василий БЕЛОВ

Белов. Вологда. Россия



О русском языке и его речевой культуре время от времени вспыхивают ожесточенные споры, иногда весьма неуместные. Частенько поводы для таких схваток создаются искусственно, а действительно важные вопросы остаются в тени либо замалчиваются. Русский язык можно учить всю жизнь, да так до конца и не выучить. Слово – сказанное ли, спетое, выраженное ли в знаках руками глухонемого, а то и вообще не высказанное, лишь чувствуемое, – любое слово всегда стремилось к своему образному совершенству. Это стихия, и она, как любая другая стихия, необъятна. Родное слово в полноте своей выражает всё духовное и эмоциональное состояние человека. С этих позиций и необходимо вести борьбу против повсеместного распространения иностранной лексики.

«НЕ надо паники – язык сам очистится от пены!» – на весь мир вопит профессор-филолог. Собираясь в очередной раз реформировать русскую орфографию, он решил успокоить общественность. Не верьте доктору филологии! Не верьте ни одному его слову... Этот «доктор наук» такой же, как и все либеральные реформаторы... как, например, Заславская или какой-нибудь Гайдар. Лучше бы их, таких реформаторов, совсем не было. Реформаторство, читай, не улучшение, а уничтожение чего-либо, любимое дело подобных «докторов наук». За соросовскую подачку они сделают что угодно. Реформы их шиты белыми нитками... дай им волю, они отреформируют даже «Маленькие трагедии» Пушкина, отреформируют арию Сусанина Глинки, да так, что ни от Александра Сергеевича, ни от Михаила Ивановича ничего не останется. Обоим гениям не поздоровится. При этом будут внушать обывателям: не надо паники! В руках таких реформаторов, в их загребуших руках буквально все: академии всякие, телеканалы всякие, газеты всякие, еженедельники всякие... Силища неимоверная. И очень опасно тягаться с нею нам, грешным, не имеющим ни грантов, ни академий!

А о языке... Ну что о нем говорить? Премьер Касьянов, к примеру, не склоняет существительные, оканчивающиеся на «мя». Да и сами «доктора-филологи» боятся просклонять хотя бы для опыта какое-нибудь трехзначное числительное. «...Ничего особенно страшного я здесь не вижу, – нахально твердит филолог, отвечая на вопрос о рекламе. – Пусть экспериментируют, шутивая реклама ведь более действенна». Пусть экспериментируют? Нет, не пусть. Корреспондент спрашивает: «Вот будем мы, насмотревшись телевизора, часто говорить «сникерсни». Повлияет это все же на культуру речи?». «Да никак не повлияет! – смело заявляет реформатор Леонид Крысин. – Останется слово в пределах рекламы, а потом будет благополучно забыто». Увы, все это не так...

Слово-то навсегда, может, и не останется, зато останется ублюдочный способ мышления. А в каких пределах? И

на какой срок? Бог знает. Не собираюсь я спорить с членом орфографической комиссии доктором филологии Леонидом Крысиным, он все равно вывернется, на то он и «доктор филологии». Или просто не заметит моего мнения, как не однажды бывало. По-моему, не следует вступать в спор и с другими авторами страниц еженедельника («Век» # 436). Зачем? Все равно академика Велихова не научить правилам шестого класса. Тем более он считает, что иногда слова вполне можно и нужно заменять обычными цифрами. В наше время такое цифровое новшество уже и делается сплошь да рядом. Пардон, еще не сплошь! Вместо цифр чаще используются пока аббревиатуры. Недавно прочитал я страницу в «Экономической газете», где говорится о создании новой коммунистической партии на Украине. Такая прет аббревиатурщина, что ничего простому человеку без специаль-

способе я говорил еще в 1971 году.) Позвольте использовать собственную цитату: «В самом деле, стоит кому-то заявить, что слово Останкино склонять совсем не обязательно, как открываются прекрасные возможности для полемики. Полемика в данном случае не нужна, спорить абсолютно не о чем, но я уже участник полемики, я участник спора, следовательно, незаметно для себя признаю правомерность и жизнеспособность спора». На мой взгляд, такой способ называется провокацией. Не надо к этому слову никаких кавычек! И приучили ведь товарищи из «Московского комсомольца» с помощью этого метода – даже яростных патриотов, даже депутатов-политиков чуть ли не к мату приучили! Теперь уже почти никто не стыдится таких выражений: «наша партия не будет ложиться под ...» и т. д. Не замечают многие, и даже порядочные журналисты, из какого лексикона

ника и протестанта. Слово «любовь» у Пушкина звучит чаще, чем слово «свобода». Так же ли часто звучит слово «свобода» в католических и протестантских молитвах? Этого я не знаю, т. к. не знаю католического и протестантского молитвословия. Но можно предположить и без точного подсчета: у реформаторов-то только и на слуху эта самая «свобода»...

Если же продолжить разговор об орфографии, то снова надо вспомнить об элементарной грамотности: о падежах, о знаках препинания, о спряжении глаголов, о многом еще. Где ставить точки, запятые, двоеточие и многоточие, где необходимо тире, а где ничего не надо. Я не говорю, что русский язык прост. Я говорю о грамотности, которая необходима и Путину, и Касьянову с их полубандитской командой. Но даже полным бандитам необходима грамотность хотя бы в пределах семилетней школы. Иначе они всю жизнь будут переделывать (реформировать) и уничтожать наш язык – тот самый язык, о котором с таким благородным пафосом говорил Тургенев. Сохраним язык – сохраним все!

А наши враги навалились сейчас именно на язык. Они губят его сразу по нескольким направлениям. Главное из них – это упрощенческое сокращение. Второе – это намеренное засорение многими способами: например, нарочитым внедрением чужих, не свойственных нашему духу слов, способов правописания, интонаций. Примеров тому уйма. Вот хотя б засорение, отравление русского языка через медицину. Представляю, какой поднимется гвалт против этого утверждения! Но что делать, если и впрямь ненавистники России всех мастей намеренно, я бы сказал, грамотно засоряют наши сердца и души иностранщиной. Я совсем не против латыни в медицинских рецептах, но ведь надо и совесть (т. е. предел) знать, господу эскулапы! А технику взять?

Словарный состав языка отнюдь не всегда богаче становится, если свое живое название сменим на мертвую латынь. Добросовестные доки аптечного и инженерного дела подтвердят эту мысль.

Много можно болтать и спорить на сей счет, причем болтать и голосом, и письменно. Кстати, взаимосвязь разговорной и письменной речи вполне очевидна. Тот, кто хорошо говорит, хорошо обычно и пишет. Предлагаю высказаться по этому поводу русским, а не русскоговорящим... Но я глубоко убежден, что существуют два вида языковой грамотности: природная (то есть интуитивная) и не природная (то есть академическая). К которой из них лежит больше душа человеческая – это дело каждой личности. К любому из двух видов грамотности мое безбрежное почтение и уважение. Да, да, именно безбрежное! Независимо от того, враг ты России или сам русский (следовательно, либо совсем не враг, либо просто заблуждающийся). «Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении какого-то слова, какого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности», – говорил А. С. Пушкин.

В. Белов

Василий БЕЛОВ

ОПАСНЫЕ ИГРЫ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ

ной подготовки не разобрать. Кто кого молотит – ничего не поймешь! Спасибо Чекалину – главному редактору, что хоть запретил псевдонимы. Но на его месте я не стал бы экономить газетную площадь, используя аббревиатуры в таком изобилии. Ведь газета-то «Экономическая»...

Ничем не оправданный оптимизм либерально-демократических перестройщиков сказывается в замалчивании опасностей, грозящих русскому языку. Патриотическая печать закрывает глаза на эти опасности, из-за угла грозящие русской культуре и всей России. И реформаторы-перестройщики отнюдь не зевают. Пока русские люди ловят ворон, Греф и Чубайс «чинят мину под фортецию правды» (так выражался Петр I). Они, то есть Чубайсы, уже припасли нам жилищную реформу. Реформу-катастрофу. Но людей успокаивают. Дескать, не надо паники. Что им стоит «отреформировать» и язык русский? Пока разговоры только об орфографии, но и с ее помощью можно сокрушить язык. Безобидная болтовня в печати – это дымовая завеса. Тихой сапой проникли в наш быт и более опасные вещи. Людей приучают думать и чувствовать по-новому, то есть не по-христиански и не по-русски, а по-демократически. Имеются в виду скрытый цинизм, тайная похабщина, внедряемые в головы и сердца журнальной и газетной публикой. Начинали наши враги с анекдотов, а докатились до открытой похабщины. Погляньте страницы «Московского комсомольца», так любимого многими москвичами. Уже и человеческие страдания, смерть, горе родных и близких осмеяны журналистами этого толка! Задача их проста и коварна: всех приучить к тому, что в похабщине нет ничего дурного. Чтобы не возникал у читателей даже позыв к полемике, чтобы отсечь с ходу любой спор на эту тему! (Об этом вражеском

подобные выражения. Соревноваться с мадам Новодворской продолжает Хакамада (тоже мадам). Не только порядочные газетчики, но и приличные писатели уже не стыдятся пользоваться проституцкой лексикой. Не будем тыкать пальцем в определенные места. Искусились даже иные писатели, великолепные знатоки русского языка...

Скажут: это сатира. Я не могу отнестись к сатирикам Николая Васильевича Гоголя, но Михаила Евграфовича Щедрина почему бы не кликать сатириком? Скажите, много ли похабщины у Салтыкова-Щедрина, а уж на что едок и зол? Так что дело совсем не в сатире. Мне представляется, что русский мат – этот наш национальный позор, этот ядовитый, стегающий всех подряд бич не достоин ни любого, уважающего себя литератора, ни любого газетчика. Но газетчики, может, потому и циничны, что им хочется стать писателями, а писатели оттого и похабны, что им хочется выглядеть не хуже Гоголя. Не знаю, не знаю... Наверняка полемисты вспомнят тут А. С. Пушкина. Кто-кто, а Пушкин-то знал, что чужебесие не приводит к добру. Однако же Пушкину до московских дамочек весьма и весьма далеко – это, во-первых, а, во-вторых, он искренне всю жизнь каялся за грехи ранней молодости, а царь простил ему даже богохульство. Так что ссылка на Пушкина тут не годится. Даже превосходный стилист Хемингуэй для русских тут не пример. Это ведь он называл обычную физическую близость противоположных полов великим и ничем не заменимым словом «любовь». Мы, русские, пользуемся этим словом в молитвах...

Подумаем на досуге, к чему или к кому приравнял человека Нобелевский лауреат? Вовсе не сравниваю таланты всемирно знаменитых литераторов, сравниваю мировоззрение православного Пушкина с менталитетом запад-

ФОТОГАЛЕРЕЯ «ВЛ»

ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ БЕЛОВ



В. И. Белов на службе



Семья Беловых. Сидят: Лидия Ивановна, Анфиса Ивановна, Александра Ивановна. Второй ряд: Иван Иванович, Юрий Иванович, Василий Иванович



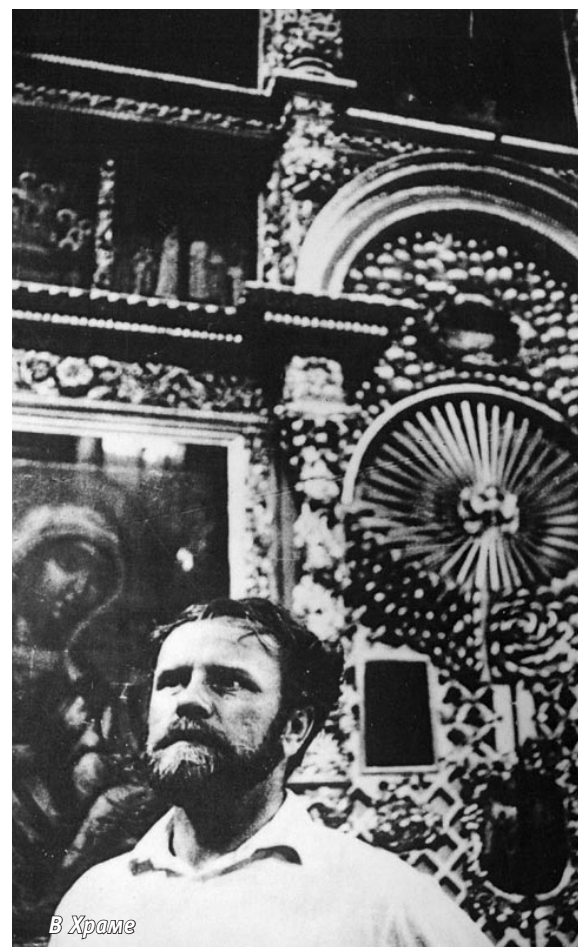
Президент РФ В. Путин вручает В.И. Белову Государственную премию России. Москва. Кремль



А.А. Романов, А.Я. Яшин, В.И. Белов



Ю.А. Гагарин и В.И. Белов



В Храме



В.И. Белов и М.А. Шолохов. Ст. Вешенская



В. Белов, Н. Рубцов, В. Коротаев



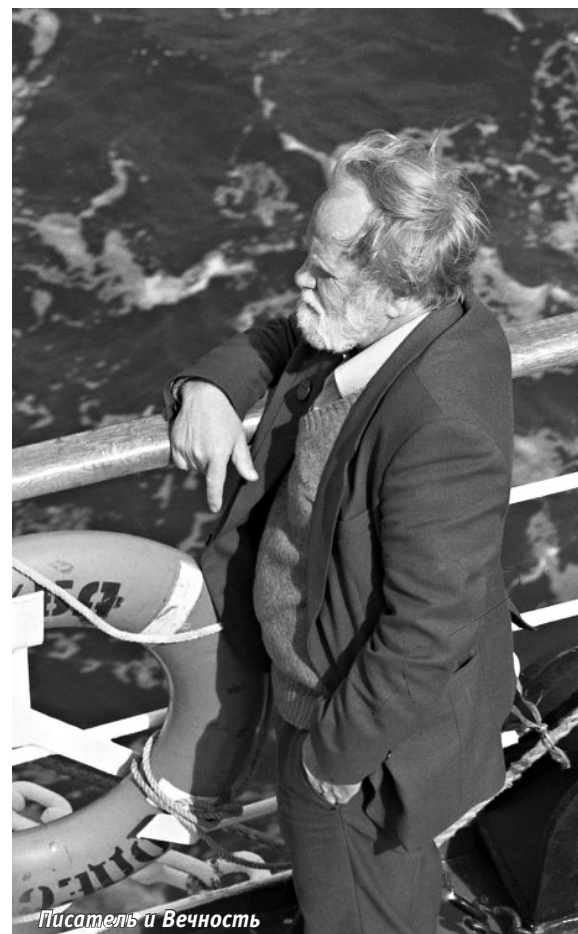
Человек счастлив, пока у него есть Родина



В. Астафьев, В. Крутин, В. Распутин, В. Белов



В.М. Шукшин и В.И. Белов в Белозерске на съемках фильма «Калина красная»



Писатель и Вечность

Белов. Вологда. Россия



Стихи, связанные с личностью и творчеством классика русской литературы В. И. Белова, может быть, для понимания нравственно-эстетической сути творчества писателя значат не меньше, чем критические разборы и литературоведческие исследования. В. И. Белов как феномен русской культуры получил в них воплощение, представляющее несомненный интерес. Эти стихи — материал особого рода. Их авторы выразили свое отношение к Белову и его произведениям на языке художественных образов. И сам Белов здесь присутствует не только как реальный человек, знакомый того или иного автора, но и как лирический персонаж, как создание творческого воображения, как, наконец, духовный ориентир. Стихи, адресованные В. И. Белову, можно воспринимать так же, как и лирический комментарий к его произведениям, и как своеобразный литературный портрет писателя, и как отклик на проблемы, поставленные им. Как бы то ни было, они достойны внимания всех, кому интересен и дорог большой русский писатель Василий Иванович Белов.

У Васи у Белова...
Там избы, словно бабы,—
Добротны и плотны,
А бабы, словно избы,—
Степенные.
Коли не Колотиловы,
То уж Колоколены:
На песни волокнистые,
На сказы — мастера.
Тимониha, Тимониha,
Домов, наверно, пять.
И некому в Тимонихе
Домов пересчитать.

Борис ЧУЛКОВ

(Вологда)

ЗИМНЯЯ ДОРОГА

Василию Белову

И даже город — в мгlistой дымке,
а чуть за город — полутьма.
Округа — в шапке-невидимке:
и набралась же сил зима!
Река теряется в заносах;
закрыта облаком, луна —
и та как будто под вопросом,
на грани призрачного сна.

...ВСЕ, ЧТО В ДУШЕ И В СУДЬБЕ НАБОЛЕЛО

Николай РУБЦОВ

(Вологда)

ТИХАЯ МОЯ РОДИНА

Василию Белову

Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи...
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои.
— Где же погост? Вы не видели?
Сам я найти не могу.—
Тихо ответили жители:
— Это на том берегу.
Тихо ответили жители,
Тихо проехал обоз.
Купол церковной обители
Яркой травой зарос.
Там, где я плавал за рыбами,
Сено гребут в сеновал:
Между речными изгибами
Вырыли люди канал.
Тина теперь и болотина
Там, где купаться любил...
Тихая моя родина,
Я ничего не забыл.
Новый забор перед школоу,
Тот же зеленый простор.
Словно ворона веселая,
Сяду опять на забор!
Школа моя деревянная!..
Время придет уезжать —
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать.
С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

Александр ЯШИН

(Москва)

ТИМОНИХА

(Стихи из дневников)

Деревни — как сказания,
В длину и ширину.
Уже одни названия
Плотны до основания,
Что сруб —
Бревно к бревну.
Тимониha, Лобаниha,
Тетериha, Печиha —
В них что-то есть от Палеха,
От песни тихой.
И все — по кромке берега
На Сохте неглубокой,
Извилистой, негромкой,
Затянутой осокой.
От этой речки быстрой
Любого мужика
Вводи в Совет Министров,
В Политбюро ЦК.
А я живу в Тимонихе

А где граница роши с полем?
О, маскировочный халат,
облекший их по чьей-то воле
от головы до самых пят...
И — здравствуй глушь под стать медведям!
И — всю-то ночь мы им под стать
за столько верст добро бы едем —
бредем (теплом едва не бредя!)
заутра киселя хлебать.
Вокруг — матерый вой метели,
кругом — пурги слепящий свист.
И блазнит — что там:
то ли ели, а то ли призраки сошлись?
Но даже если ты приметил,
что это лес — подкатит страх,
что и на сумрачном рассвете
ты будешь в тех же трех соснах.
Ни дать ни взять — с зимой морока,
мороз махров — он пронял нас,
не позабыть его урока:
урок — весомей слез из глаз...
Все тонет, тонет в мгlistой дымке,
и все скрывает тьма и тьма, и —
в шапке, в шапке-невидимке —
везде зима, зима, зима!

Михаил КАРАЧЁВ

(Вологда)

* * *

В. И. Белову

Навсегда в мирозданье ночном
Покрываюсь осмысленным сном.
Уплывай, моя брeнная плоть,
По теченью, как брошенный плот.

Только дух обретает причал,
Растворяясь в родную печаль
Над рекой постаревших раки...

Наша родина нас повторит!

Наше время движением вод
По родимой реке уведет.
Но окрестные наши леса
Будут эхом хранить голоса!

Ты, рожденный из будущих лет,
Отзовись на родимый привет!

Анатолий ПЕРЕДРЕЕВ

(Москва)

БАНЯ БЕЛОВА

1

В не лучшем совсем состоянье своем
Я ехал к Белову в родительский дом.
Он сам торопился, Василий Белов,
Под свой деревенский единственный кров.
И гнал свой «уазик» с ухваткой крестьянской
Сначала — по гладкой, а дальше — по тряской.
Везли мы с собой не гостинцы, а хлеб...
И ехали с нами Володя и Глеб.

Володя, в свой край нараспашку влюбленный,
И Глеб, присмиривший, с душой затаенной...
В начале пути нам попалась столовка,
Где жалко себя и за друга неловко.
Каких-то печальных откушали шей
И двинулись дальше дорогой своей...
И вот предо мною зеленый простор
Величье свое бесконечно простер.
Стояли леса, как недвижные рати,
В закатном застывшие северном злате.
Сияли поля далеко и прозрачно...
Но было душе неуютно и мрачно.
Бескрайние эти великие дали
Мне душу безмолвьем своим угнетали,
Я видел, как дол расстился за долом,
Какой-то сплошной тишиной заколдован.
И реки пустынные — Кубена... Сить...
Здесь некому вроде и рыбу ловить.
Среди их привольно катящихся волн
Хоть чья бы лодчонка, хоть чей-нибудь челн!..
Густела в полях вечереющих мгла,
И странные нам попадались дома.
Они величаво из мглы возникали,
Как будто их ставили здесь великаны.
Наверное, ставили их на века —
Такая во всем ощущалась рука.
Такое надежное крепиче бревен...
Но облик их был и печален, и темен.
Ни света из окон, ни дыма из труб,
Безмолвен был каждый покинутый сруб.
И мрачно они средь полей возвышались.
Куда же хозяева их подевались?!
Но каждый об этом угрюмо молчит...
И молча мы едем в глубокой ночи...
Но вот наконец нас хозяин привез
В деревню свою под сиянием звезд.

2

По-черному топится баня Белова,
Но пахнет березово, дышит сосново.
На вид она, может быть, и неказиста,
Зато в ней светло, и уютно, и чисто.
Когда в ее недрах всколыхнется жар,
Она обретает целительный дар.
Она забирает и тело, и душу,
Все недуги их извлекает наружу.
Любую усталость, любой твой кошмар
Вбирает в себя обжигающий пар.
И, весь разомлев, ты паришь невесомо,
Забыв, что творится и в мире, и дома.
И с пышущей полки встаешь, обнажен,
Как будто бы заново в мире рожден.
Как будто бы весь начинаешься снова...
По-черному топится баня Белова.

3

И светлая взору предстала деревня,
Живая деревня в краю этом древнем.
Из сказки забытой, казалось, возник
Ее отуманенный временем лик.
Темнели на избах высоких узоры,
И окна синели, как жителей взоры.
Распахнутый миру — входи на порог! —
Под небом пустынным жилой островок.
Казалось, один он остался на свете
Затем лишь, чтоб путника в мире приветить.
Хоть много чего сохранить не смогла,
Но душу деревня еще сберегла.
Наверно, веки она не иссякнет,
Раз вынесла столько погребели всякой.
Наверно, веки она не исчезнет,
Раз столько еще и добра в ней, и чести.
Раз детская чья-то головка одна
С таким любопытством глядит из окна.
Раз может еще так глазами сиять
Анфиса Ивановна, Васиha мать...
И сразу просторы исполнились смысла,
И небо над нами иначе нависло,
И дали, что с новой встречаются далью,
Уже не дышали такою печалью.
Все сделалось радостней, стало прочней
Земля при деревне, и небо при ней!
И мир не казался уже сиротою
Со всей необъятной своей широтою.
К деревне ведет и тропа, и дорога.
Еще так богата земля, и так много
И сил, и красоты у земли этой древней...
Доколе лежать ей, как спящей царевне,
Доколе копить ей в полях своих грусть,
Пора собирать деревенскую Русь!
Пора возродить ее силу на свете —
Так пели и травы, и листья, и ветер.
Так думало поле, и речка, и лес,
И даль, что смыкается с далью небес.
Так думал, наверно, Василий Белов,
Что вел нас по отчому краю без слов.
Пора! — это Времени слышно веленье —
Увидеть деревне свое возрождение.
А все, что в душе и в судьбе наболело —
Привычное дело, привычное дело.

«ВСЁ ВПЕРЕДИ» С БЕЛОВЫМ

Всероссийский конкурс современной прозы имени Василия Ивановича Белова, классика русской литературы, проводился уже в пятый раз. Теперь он организован Союзом писателей России совместно с Правительством Вологодской области и будет постоянно проходить раз в два года.

В 2017 году было рассмотрено порядка 500 работ от 297 авторов из 52 регионов России и 6 зарубежных государств. Лонг-лист конкурса включает 25 авторов. Конкурсной Комиссией первое место решено было не присуждать. Вторые премии получили: Николай Иванов, г. Москва (рассказ «Брянская повесть» и новелла «Свете тихий»); Юрий Лунин, Московская область (рассказ «Три века русской поэзии»); третьи премии: Сергей Багров, г. Вологда (повесть «Колокольчик»), Владимир Воробьев, Одесская область (проза из цикла «Невыдуманные истории»). Были рекомендованы к включению в сборник лучших работ участников конкурса и другие авторы: Анна Чернецова, г. Иркутск, Константин Гнетнев, Республика Карелия, г. Петрозаводск.

Сегодня на страницах «ВЛ» представлена проза Николая Иванова из Москвы и Владимира Воробьева из г. Измаил Одесской области.

Николай ИВАНОВ

(г. Москва)

БРЯНСКАЯ ПОВЕСТЬ

БЕЖАЛА уточкой, норовя обогнать свою палку-костыль и удержать от налетающей пороши брезентовые крылья плаща. Я спешил, но старушка, видать, торопилась ещё больше.

— Ты чего стал? — настороженно заглянула она в приоткрытую щёлочку окна.

— Подвезти.

— А ты меня знаешь?

— Нет.

— Тогда почему стал?

— Снег начинается, вы торопитесь, я еду. Садитесь.

— Но ты точно меня не знаешь?

— Не знаю.

Ветер с разбега швырнул пригоршню снега в машину, на сшитый во времена развитого социализма плащ старушки, её увитую венами руку, лежавшую на клюке.

— Бабуля, время! Едем.

Но она продолжала пристально всматриваться в меня, угадывая породу. Ни на кого в её памяти не оказался похож, но просияла в озарении, найдя неопровержимый аргумент моего возможного коварства:

— А почему тогда другие проехали мимо и не стали?

О-о, святая простота!

— Ну не знаю я, бабуль. Меня подвозили — я подвожу. За других не отвечаю. Поедете? — перебросил на заднее сиденье бутылки из-под пива.

— Но ты точно меня не знаешь?

— Точно. Не знаю.

Глянула на небо, по сторонам, открыла дверцу. Прежде чем сесть, сбросила дождевик, как в деревне снимают галоши перед тем, как войти в дом. Смотала брезент в рулон, прижала к животу: если испачкает, то себя. Осторожно усевшись, двинула зажатой меж колен клюкой, словно штурвалом в самолёте — вперёд.

Только набирать по здешним дорогам крейсерскую скорость — оставить на ней подвеску или вылететь в кювет.

— А что это у вас дороги такие разбитые?

— Так война ж была.

Не шутила, не ехидничала — правду говорила и верила в это.

Скрывая улыбку, отвернулся к окну. Молоденькие деревца, летом зелёными солдатиками бежавшие по косогору в атаку, сейчас, убелённые седым инеем, выходили из боя по колено в снегу.

Война, так война. «Мы вели машины, объезжая мины»... Сократил на свою голову дорогу по просёлкам! Хотя, как ни странно, народ здесь тоже куда-то спешит.

— И куда можно торопиться в такую погоду?

— Так снег же понедельники не отменял! А у меня дед только по ним на рыбалку: говорит, меньше конкурентов. А нынче очки забыл. Несу вот, а то без них и без меня как слепой. Чего отказываться от правды: крайней-то я окажусь, что не проверила.

Похлопала по карманам: не попутал ли бес и её? Вытащила перевязанный резиночкой очечник, как в шкатулочку, заглянула внутрь. Порылась в ворохе бу-

мажек, оказавшихся под очками. Ноготком выцарапала с самого низа сотенную, удивилась, в дедовы же очки проверила её на свет. Укоризненно посмотрела на меня. Ясно, отвечать за поведение всего мужского населения страны тоже мне...

— А божился, как иконе, что потерял. Вот теперь будет ему ни дар, ни купля,— затолкала бумажку в карман кофты, зашпилила личный сейф булавкой.— Сам-то где живёшь?

Ехали в сторону Украины, и кивнул назад:

— В России.

— А я дома. Пятистенник. Пятерых и родила, каждому по стене. Да только разбежались все. Кукуем с дедом вдвоём. Ты, видать, такой же. Летун? — ей очень хотелось оправдаться мной, чужим для неё человеком, что остались они с дедом одни не из-за плохих детей, а что времена нынче за окном такие.

За стеклом начинающаяся позёмка была впрямую собравшихся на обочине воробьёв. Сугробы, присевшие отдохнуть на поваленные вдоль дороги деревья, приглашали присоединиться, но нам посиделок не надо. Нам вперёд, на Киевскую трассу.

Скосил глаза на панель приборов. Цифры в минутах сменяются быстрее, чем в километрах...

— А ты не летай быстрее своего ангела,— утихомирила попутчица, всё замечая.— Раз сдерживает в пути, значит, хранит от беды, которая может ждать впереди. А мне вон там, около Барыни, останови,— кивнула на железный транспарант с дородной колхозницей, державшей в руках проржавевший сноп пшеницы.

— Почему Барыня?

— Так мы все работали, а она всю жизнь простояла с улыбкой. Стопроцентная правда, это я не перцем чихнула.

— Ясно. Далеко до озера?

— За тремя кустами. Добегу. А то дед заревнует, что на машинах без него развезжаю,— поулыбалась несбывшемуся.— Спасибо тебе, хоть и не знаешь меня. Авось, и тебе когда от людей в нужную минуту вспоможется.

Помявшись, вскрыла сейф, на ощупь распознала его содержимое и положила на панель две конфеты:

— Вместо курева.

Огляделась, выхода: не унесла ли на хвосте чужое и не оставила ли чего своего. Раскатала обратно плащ, кивнула то ли мне, то ли небу за помощь и снова побежала, переваливаясь уточкой, к своему слепому деду-селезню. Поймать вам золотую рыбку!

А мне опять навёрстывать время, благо до трассы тоже три куста. На таких одинаковых расстояниях от пересечения дорог обычно ставят храмы...

Ударить по газам не получилось и на Киевке. На первом же пригорке, собрав гармошку из нетерпеливых, мальками дёргающихся легковушек, полз трактор-«петушок», издевательски кивая всем задранным ковшом. Сколько не имей лошадей под капотом, а подчиняйся второй скорости трактора. Тянись следом, читай указатели, смешавшие красоту и политику — «Красная поляна», «Красный бор», «Красная коммуна», «Красный колодец». Не хватало ещё какой-нибудь «Красной синьки» — в Питере в двадцатых годах не звали так завод, выпускавший поделку. Но там был революционный подъём, а тут едешь как на быке. Давай же, то ли брат, то ли сестра «Беларусь», мне ещё возвра-

щатьса назад!

Рвануться вперёд всем скопом смогли, лишь выскочив на пригорок и получив обзор.

Всем скопом внизу и остановил своей волшебной палочкой выбежавший из-за автобусной остановки счастливый гаишник. Вот же засада в прямом и переносном!

Я оказался в веренице последним, и мог лишь молча наблюдать, как толстый от бронжилета капитан собирал, словно жирный котяра сметану, паспорта и водительские удостоверения. Вальсяжность гаишника убила добрый десяток минут, и пришлось поверх водительского протянуть служебное удостоверение — своего-то должен отпустить.

Усы кота-капитана сжались, но только лишь для того, чтобы сдержать улыбку при старшем по званию. Постучал документами по палочке. А она ведь чёрно-белая, как наша жизнь...

— Скоро у нас будет как на Кавказе, товарищ полковник.

— А что на Кавказе?

Я только что прилетел оттуда, завтра возвращаться обратно, потому иронии не принял. Хотя интересно услышать о «родных» местах со стороны.

— А там у каждого нарушителя есть оправдательный документ,— поведал капитан. И не преминул подчеркнуть своё пребывание в «горячей точке». Может, и затевал весь разговор ради этого: - Неделю назад в Нальчик летали на усиление. Тормозим парнишу лет восемнадцати. Улыбается — я свой! И показывает листок стандартной бумаги, на котором на ксероксе перенято удостоверение его двоюродного брата. Из вневедомственной охраны. Так что всё может быть,— капитан развёл руками, размышляя, отдавать ли документы.

В другой раз пояснил бы ему разницу между парнишей и полковником, ксероксом и ксивой, проверкой документов в Нальчике и лёжкой под огнём артиллерии в Аргунском ущелье. Но я спешу, меня ждёт в госпитале мой друг Лёшка, вызвавший этот самый огонь на себя. У меня нет времени на разговоры с тобой, капитан.

Тот моё презрение почувствовал, неторопливо заглянул в машину. Сдерживая эмоции, я глубоко вздохнул: делает ведь всё законно и правильно. Я сам приучал подчинённых точно так же осматривать подозрительный транспорт. По замершему взгляду проверяющего понял, что сам же и оставил тому «зацепку» — бутылки из-под пива! Но не оправдываться, не обращать внимания, перевести разговор...

— Но можно узнать, что мы нарушили? Пошла прерывистая разметка...

— Товарищ полковник, а как вы думаете, неужели мы здесь случайно стоим? Там выставлен знак «Обгон запрещён». Ждите, вызовем,— капитан ещё раз глянул на вещественные доказательства и, пропустив только-только подъехавший трактор, пошёл к спрятанной за автобусной остановкой машине.

Зато позёмка ярым нарушителем дорожного движения пересекала двойную сплошную, вылетала на «встречку», переваливала отвал и неслась в снежное нетронутое безмолвие полей. Мне бы её вольницу и безнаказанность. Хотя бы на сутки!

Прикрыл глаза, откинулся на сиденье. Пока всё складывается против того, чтобы я успел к сроку в Севсько — старинный русский город Севск, расположенный на границе с Украиной. Но ведь всё равно успею, иного выхода нет. Просто придётся гнать. А попутчица правду сказала про опасность впереди. Довёз бы её с очками до озера, не упёрся бы в «петушка». Вот и не верь приметам. Хотя и другая пословица есть: тише едешь — никуда не приедешь...

Гудок гаишной машины вернул к реальности: меня звали. Арестованная вереница рассосалась, только один из водителей звонил по мобильнику, явно поднимая на выручку знакомых. Мне поднимать некого, мои все в Чечне...

Мнущийся около машины капитан мурлыкал в усы песенку, за рулём оказался майор. Это лучше. В одной звезде больше мудрости, чем в четырёх капитанских жажды власти над людьми.

Не ошибся. Тот вертел в руках моё удостоверение, придумывая причину задержки.

— Вы... вы слегка увлеклись скоростью, товарищ полковник.

— Даже не спорю,— поднял я руки.

— Не пили сегодня?

— И вчера нет. Вторые сутки за рулём. И надо успеть к утру вернуться в Москву. Аэропорт Чкаловский. Моздок,— произнёс я паролем путь из точки А в точку Б. Гражданским они ничего не скажут, людям в погонах это как путь из варяг в греки.

Майор понял и оценил, что я не выпячиваю Чечню охранной грамотой.

— Подождите немного, сейчас товарищ отъедет,— кивнул на звонившего.

Тот уезжать без прав не собирался, зато заглянул внутрь машины капитан:

— Куда Васю?

Майор скосил на меня глаз, но посчитал за своего и отдал распоряжение:

— Гони обратно.

Через минуту мимо нас на гору, подгазовывая себе синими точками-тире, весело побежал «петушок». Теперь уже ясно: собирать очередную партию лохов. Не знаешь, что лучше: Кавказ со своей наглостью или родная глубинка с подвохом...

Мою горькую усмешку майор попытался не увидеть, но оправдаться посчитал нужным:

— Самое гиблое место. За смену две-три аварии. А так хоть сдам её без трупов.

Стопка отобранных водительских прав на панели перед стеклом не тянула на свидетельства о смерти, но даже если она перекроет один некролог, капитан-кот не зря слизывает с пригорка свою сметану. Вот только если бы не исподтишка...

— Осторожнее, товарищ полковник. Дорога скользкая.

Спасибо. Справлюсь.

Снег кружил уже по-взрослому, с уверенностью в свои глубокие тылы. Фуры на трассе начали сбиваться в паровозики, и обгонять их без риска схватить лобовое столкновение сделало практически невозможно. Но я обгонял — спасибо, товарищ майор, за задержку. Понимаю ситуацию, но самолёт ждать не станет. Но вначале надо добраться до Севска, родины моего друга, которого я подставил под пули.

— Держись, родная,— я сжимался в пружину, чтобы не вильнуть и не цапнуть колесом снег на обочине. Тогда точно принесут цветы, так неестественно алеющие среди дорожных отвалов, и мне. Сейчас нельзя. Никак нельзя.

Ангел, наверное, выбился из сил поспевать за мной. Держись, брат! Сам меня выбрал, не я тебя. С другим бы наверняка лежал на диване...

Самыми одинокими, несмотря на их прокол с ГАИ, на зимней трассе кажутся автобусные остановки. Но когда впереди замаячила маленькая фигурка, сгорбленным столбиком стоящая у дороги, я закачал головой: не-е! Я что, один на всей трассе? А если бы не приехал? Все бы так и остались стоять и бежать своим ходом? Подберут те, кто не так спешит...

Сзади накатывали железнодорожным составом фуры. А стоял, кажется, пацан. Что ты тут делаешь в снегопад? Тоже на рыбалку или уже с неё? Подарю Лёшке после госпиталя удочку, приедем с ним на его Брянщину и засядем у лунки на все дни недели. Кроме понедельника.

Лишь бы выжил!

— Быстрее! — я выбросил дверцу перед парнем.

В зеркало заднего вида надвигалась снежная круговерть с мощными фарами внутри. Они мигнули, предупреждая об обгоне, и я прикрыл глаза: всё, второй раз мне эту грохочущую, клубящуюся в снегу массу не обойти. Парень-парень...

Тот, похоже, уже не надеялся, что его кто-то подберёт. В лёгкой курточке, кроссовках, вязаной шапочке, паренёк полусогнутым ввалился в машину и остался на сиденье в этой же позе, совершенно равнодушный, что с ним будет происходить дальше. Фуры, волнами качая машину, проносились мимо, и я направил на нового пассажира все вентиляторы от печки. Пропустив весь затор, выехал на дорогу. Возвращаться всё равно в темноте.

Несколько минут проехали молча. Паренёк оживал постепенно: сначала зашевелился, потом сел поудобнее, огляделся.

— А я всё равно думал, что кто-то добрый найдётся и не даст замёрзнуть,— совсем как старушка перед этим, кивнул в благодарность. Протянул руку: — Лёша.

• Продолжение на 9-й стр.

«ВСЁ ВПЕРЕДИ» С БЕЛОВЫМ

• Продолжение. Начало на 8-й стр.

Пальцы были холодными, но зубы уже не стучали.

— Привет, Лёша. Моего друга тоже так зовут. Сколько же ты стоял?

— Часа два.
— А куда добираешься?
— В Суземку. К крёстному.

До поворота на Суземку было километров семьдесят, после него ещё тридцать...

— А почему не на автобусе?
— Билет 120 рублей. А мамка дала только пятьдесят три. Водитель не посадил.

— Надо было ехать?
— У меня сегодня день рождения, пятнадцать лет.

— Поздравляю.
— Спасибо. А крёстный ещё летом обещал подарок. Как вы думаете, что он может подарить?

— А он знает, что ты едешь?
— Нет. Но он же обещал!

Господи, в какие дикие края я попал! Что это за страна такая, полная наивных людей — Брянщина! А если крёстный забыл про обещание? Или, хуже того, лежит пьяный? Или просто уехал и дом закрыт? Лёха ты Лёха, голова два уха...

— Бери конфету,— кивнул ему на свой утренний заработок.

Сам не успел вытянуть шею и осмотреть колонну, а сосед уже облизывал фантики синим языком. Значит, краска на обёртках поганая...

Дорога пошла волнами, сведя видимость к нулю. Рисковать попутчиком, да ещё в его день рождения, стало nepoзвoлитeльнo. Ну и ладно. Передохнём. А ещё лучше — дозаправиться на обратную дорогу и перекусить. При таком движении всё равно одинаково со всеми подъездом к суземскому повороту.

— Перекусим? — кивнул на заправку.

Лёшка недоверчиво поднял глаза, торпливо согласился, пока я не раздумал.

— Что взять?
— А можно сосиску в тесте? Такие бывают, я знаю.

— Иди выбирай, пока заправляюсь. Именинника нашёл у витрины — он словно сторожил вожделенный бутерброд недельной заветренности.

— Вон она,— прошептал с облегчением часового, сдавшего пост.

— Садись туда,— кивнул я на дальний столик. Наклонился к девчонке за стойкой: — Тому парню — хороший кусок мяса. С полной тарелкой картошки. Салат со всей зеленью, какая есть. Ещё... давайте компот с сырниками. И сосиску в тесте. А мне кофе. Покрепче.

За столом Лешка перегнулся, чтобы не слышали остальные, брянским партизаном-подпольщиком прошептал:

— Сзади иностранцы сидят. Видите? Думал, хохлы, а прислушался — нет, я ихнему понимаю. Наверное, молдаване.

Подошла девушка с полным подносом, принялась выставлять тарелки. Лёха проводил каждую завистливым взглядом, но увидев свой заказ, облегчённо выдохнул.

— С днем рождения, Лёшка,— я сдвинул все порции к нему.

— Это мне? Всё? — голос парня дрогнул, в глазах показались слёзы. Не удержавшись, покатались по худым щекам, булькнули в компот.— А я еду и есть хочу. Еду и хочу есть...

— Я машину посмотрю, а ты ешь,— оставил именинника одного. Кофе можно и в кабине попить...

Допить не успел. Утирая рот, выбежал с зажатой в руке сосиской попутчик. Может, боялся, что уеду? Нет, Лёха, ты земляк моего друга. И имени у вас с ним одинаковые! А значит, я тебя не оставляю.

— Там был такой кусок мяса! — убедившись, что я на месте, начал именинник с самого восторженного. Видать, и впрямь мать не смогла наскрести на билет, если парень забыл, когда сытно ел.— Такой ку-сище! Спасибо.

Улыбнулся счастливо, по-хозяйски уселся на сиденье:

— А у меня теперь получается, что я в Москве был и в кафе. И на метро ездил. Там, чтобы попасть в него, надо сначала карточку купить и приложить к жёлтому кругу. Я два раза проехался по эскалатору — и привык сразу. Только вот народу там — табуны. Та-бу-ны народу!

Он ещё рассказывал, как надо вести себя в Москве, чтобы не потеряться, как сторониться цыганок. А главное, не покупать продукты в первом попавшемся магазине. Потому что если обойти несколько, то хоть на пять копеек, но товар найдётся дешевле...

— Лёха, вон поворот на твою Суземку. Люди стоят, значит, автобус скоро придёт. Я бы довёз до конца, но очень спешу. К твоему тёзке, он раненый лежит. Обещай, что сядешь на автобус.

— А пешком и нельзя. Волки завелись. Не дойду.

— Это тебе на билет,— протянул ему деньги.

Я сидел сбоку, но Лёшка посмотрел вверх, словно они свалились оттуда. А может, чтобы просто проморгаться. Прекращай это мокрое дело, брат! И не заражай других.

— Спасибо за пожертвование.

Тебе спасибо, Лёшка. За твою наивность и открытость. Что оказался одного имени с другом, на которого я ненароком, но навёл врага. Я, когда останавливался, не знал, что у вас одно имя. Но пусть получится, что и таким образом я отмаливаю свой грех. Теперь одна просьба ко всем святым — чтобы был дома твой крёстный...

А мне — всё! Лимит остановок исчерпан. Хоть пожар, хоть наводнение, а мой путь только к колодцу на окраине Севска. Рядом с женским Крестовоздвиженским монастырём. В госпитале Лёшка попросил воды из него. Не просил, конечно, а лишь помечтал, облизывая сухие губы:

— Воды захотелось. Из нашего колодца...

— Воды просит,— сказал я врачу, когда вошли к нему в кабинет. В углу рядом со скелетом стоял кулер, но я уточнил: — Из колодца около дома.

— Это было бы, между прочим, очень кстати,— вдруг поддержал главврач. Себе налил в чашку из кулера. Набросив на скелет халат, приподнял поникший череп анатомического пособия, ставшего вешалкой.— В природе всё просто. Человек на 80 процентов состоит из воды, и её структура полностью совпадает только с той, которую он пил с рождения. Так что если больному питаться пищей, которая окружала его с детства, и пить воду из родного колодца, выздоровление пойдёт значительно быстрее.

В тот же вечер я отыскал военный борт на Москву и договорился на обратный вылет. Двухлитровые пластиковые бутылки из-под пива — это набрать воды Лёшке. И завтра утром я должен стоять с ней на аэродроме, если хочу успеть к повторной операции.

— Сегодня ночью были голубые пакеты,— усмехнулся Лёшка тогда в реанимации. Пакеты для вывоза умерших и впрямь делают разного цвета — чёрные, голубые, золотистые...— Двое ночью захрипели и... А я лежу и приказываю себе дотянуть до утра. Чтобы уж если душа летела над землей, то... на рассвете, а не в темноте. Почему-то это оказалось важным...

Уставился в высокий потолок. Однако открылась дверь, и вошёл бог земной — наш военный хирург Василийч. Постучал для меня по часам — ты просил минуту...

— Это я виноват, Василийч,— уговаривал я его накануне попасть в реанимацию. — Я вышел с ним на связь.

— А мне сказали, что он сам вызвал огонь на себя.

— Да, но всё наоборот. То есть сначала он ушёл со своей группой брать главаря. Трое суток сидел в норе как мышь. А я не знал. Никто не знал. А тут внучка родилась. Он так её ждал!

Хирург прищурил глаз, прикидывая наш возраст. Да, не мальчишки. Но что делать, если на Кавказе воюем мы, деды. В Афгане ждали рождение своих детей, на Кавказе — уже внуков. Страна не воспитала замены, Кремль с Белым домом, как шерочка с машерочкой, барахтались все эти годы в нефтяных, митинговых и баракхличьих проблемах...

— И что? При чём здесь внучка?

Врач намеревался остаться непреклонным. Было от чего: через три дня у Лёшки повторная операция и лишний раз волновать пациента — всем дороже.

— А я стал выходить на него по связи. Поздравить. Я так часто пробивался в эфир, что он испугался: что-то случилось.

И ответил. И его в этот момент самого запеленговали «духи». Так он из охотника сам превратился в дичь. Потом уже был бой и огонь на себя.

— Понятно. Тебе одна минута. Он очень слаб. Дай Бог продержаться критические три дня.

Три дня кончатся завтра. А я пока за 500 км от Москвы плюс полторы тысячи от столицы до Моздока.

Снег чуть поутих, но перемёты лежачими полицейскими пытались сбить скорость. Но только не сегодня и не для меня. Впереди показалась знакомая, нарастающая себе дополнительный хвост колонна. Говорил же, что придём одновременно. Слева дозорными пошли дома с окраины Севска, и первый купол от Москвы — как раз Крестовоздвиж...

Я не понял, почему вильнул хвостом летящий по трассе снежный вихрь. Но из него выпала, оторвавшись от общей колонны, последняя фура. Машина на глазах стала крениться, хватать перепуганными колёсами воздух, перегораживать путь. Я летел прямо под этот падающий двухэтажный дом, тормоза бессильно завизжали на скользкой трассе, меня закружило, и последнее, что увидел,— это обрыв. То ли крикнул, то ли подумал:

— Всё!

Последний раз перед опасностью закрывал глаза при первых прыжках с парашютом, будучи лейтенантом. Потом запретил себе подобное. Поэтому, раз не помнил, что произошло при падении, значит, потерял сознание. Кратко, на миг, но случилось...

Да и когда пришёл в себя, ничего не увидел: раскрывшийся жабым ртом капот закрывал обзор. Прислушиваясь к себе, возможным травмам, повернул голову в сторону насыпи. И понял, что обманывался зря, что я всё же разбился: сверху меня крестила монахиня. С чёрным клобуком на голове, с большим напёрстным крестом поверх мантии и рысы с широкими, развивающимися на ветру рукавами. Значит, наместница монастыря. Может, самого Крестовоздвиженского. Но как смогла так быстро оказаться здесь? Ангел позвал? Хирург зря поднимал голову скелету...

Только как могла подняться на небеса вместе со мной и кабина? Может, я всё же на земле? И жив?

Толкнул дверцу.

К машине, скользя и падая на крутом склоне, торопились люди.

— А должен был перевернуться,— услышал недоумённое.

— И косточки должны были лежать в рядок по насыпи.

Пока же по насыпи от моей машины шла всего одна колея. Значит, правая сторона «Рено» летела по воздуху. Старушка-попутчица не зря назвала меня Летуном. Знать, не подобрали ещё цвет для моего мешка...

— Будь скорость поменьше, перевернулся бы. Как пить дать,— продолжали со знанием дела оценивать мою аварию любопытные.

Фраза напомнила про Лёшку. Снег хотя и спас, приняв меня с машиной, как в ватную стену, но из этого рва теперь не выбраться до окончания века. Они, придорожные сугробы, давно звали меня на посиделки.

Только загорать на морозе, похоже, светило не одному мне. Из разорванного брюха развалившейся поперёк дороги фуры вывалились мешки, перегородив и обочины. Задранные вверх колёса продолжали наматывать время. В голос дрожал треугольным нутром одинокий дорожный знак крутого поворота: ясно, что он не виноват, но дело для России знакомое — наказать невиновных и поощрить непричастных. Тем более что трасса остановилась в обе стороны.

Любопытные разделились — одни шли смотреть фуру, другие оценивали мой полёт. И только матушка, не двигаясь, продолжала шептать в мою сторону молитву. Я благодарно кивнул, подумав, что надо попросить помолиться за Лёшку...

— Не вытащим. Перевернётся,— вокруг моей машины продолжали топтаться, утрамбовывая снег, мужики.

Склон и впрямь слишком крут, и второго фокуса с полётом он, конечно, не допустит. Провибавшие вперёд — дело не менее гиблое — снег по колено, за рвом хоть и хилая, но лесополоса, а дальше заснеженное поле. Единственный выход — это оставить

машину и добираться в Москву на попутках. Но ведь и попуток нет...

— Попробуй завести. На ходу хоть? — посоветовал парень в унтах. Вот так надо зимой собираться в дорогу, по-сибирски. А то вырядился в полусапожки...

Черная ими снег, залез в машину. Не без тревоги повернул ключ. Есть! Толку от этого никакого, но завелась. И на табло горит красным контуром аккумулятор. Ясно, что это второстепенно, но со времён учёбы в суворовском училище предупреждали: в армии всё красное несёт опасность.

— Аккумулятор показывает разрядку,— открыв окно, прокричал парню.

— Глуши.

Вслед за «сибиряком» в мотор нырнул шустренький, подпрыгивающий из-за малого росточка мужичок. Наверняка пахал колхозные поля. Сделайте что-нибудь, мужики! Авось получится!

Вернулись с уловом, показав всем разорванный ремень генератора. Тут даже если выбраться на дорогу, аккумулятор в одиночку, при морозе, проработает не более пятнадцати минут. Потом машина заглохнет и превратится в остывающий кусок железа и пластика. Влетел! По всей системе координат!

Зато парень не думал сдаваться.

— Мужики, у кого-нибудь ремень есть?

Несколько человек пошли к своим машинам, и вскоре с насыпи один за другим прилетело сразу четыре лассо. «Сибиряк» выбрал по размеру самый близкий к оригиналу, снова нырнул под капот. Вернулся из забитой снегом преисподней озадаченный. Одного взгляда на меня ему оказалось достаточно, чтобы понять: я тут ему не помощник. Мужичонка-механизатор тоже втянул голову в плечи, став ниже поднятого капота: в тракторе всё проще, там с матерком как с ветерком, при одном молотке да отвёртке можно объехать все поля...

— Кто-нибудь помнит схему, как надевать ремень? Здесь восемь шкивов.

Вниз, оберегая копчики, спустилось ещё пару человек. Только бы не бросили, только бы у мужиков получилось! Они стали спорить, рисовать на снегу расположение шестерёнок, угадывать ход ремня. От меня им и впрямь не было никакой пользы, и я вскарабкался на дорогу. Водитель фуры сновал вдоль рассыпанных мешков, оправдываясь перед кем-то по телефону. Пробка росла на глазах. Извини, Лёха. Но я, правда, очень хотел тебе помочь...

— Храни тебя Господь,— подошла тихо игуменья.— Ангел-хранитель тебе крылышки подстелил.

Согласно кивнул. Всё же успел он за мной. Вернусь в Моздок и выпишу ему увольнительную на сутки!

Но во взгляде настоятельницы читалось и осуждение за скорость, и попытка оправдаться:

— К вашему монастырю ехал. Там рядом колодец есть.

— Есть. Сами берём из него. Вкусная вода.

— За ней и ехал. Другу.

— Из самой Москвы? — монахиня посмотрела номер на моей машине.

— Из Чечни. Он ранен.

Матушка перекрестилась, зашептала молитовку. Поглядев на вставшие намертво вереницы машин с обеих сторон, отошла, достала мобильник. Если ей на вечернюю молитву, то тоже не успеть. Хорошо, что хоть я ни перед кем не виноват...

В конце пробки, убирая с дороги любопытных, закрутились под вой sireны проблесковые маячки знакомой гаишной машины. Позже всех, но всё равно вовремя. Вызовут тягачи, кран,— что-нибудь ведь сделают. Не удалось майору спокойно завершить смену.

Одного взгляда ему хватило и оценить обстановку, и узнать меня. Капитана послал к фуре, мне укоризненно прошептал:

— Предупреждал же — осторожнее!

Я, что ль, хотел этого?

Гаишник не потребовал спуститься вниз, окупнуться вместе со всеми в мотор, вытолкнув плечом мужичонку. Потом нарисовал для «сибиряка» в воздухе загогулину, для гарантии повторив её на снежной схеме. Поднялся обратно, на ходу вытаскивая мобильник.

— Алло, Вася? Трос есть? Дуй на Севский перекрёсток, надо будет протянуть машину по полю.

• Продолжение на 10-й стр.



«...история России продолжается и сегодня. И литература наша русская продолжается. И нам надо делать сообща наше русское дело».

* * *

«Слава Богу, что у нас всё ещё остаются такие люди, такие писатели, на которых можно чуть ли не молиться. Имя его в народной памяти останется навсегда. По крайней мере, до тех пор, пока будет жива наша русская литература».

Валентин Распутин, писатель

* * *

«Живы не только его книги, живо сердце человека, которое бьётся, болеет за всех нас — за Родину, за Россию».

Владимир Обухович, режиссёр

* * *

«Жизнь, сама жизнь живёт на страницах беловской прозы. Друг Василия Ивановича, тёзка его, Шукшин, писал: «Я

легко и просто подчиняюсь правде беловских героев. Когда они разговаривают, слышу их интонации, знаю, почему молчат, если замолчали...».

«Когда-то термин «деревенская проза» был придуман для насмешки над писателями, пишущими о деревне. Но прошло быстрое время, и принадлежать к «деревенщикам» стало почётно. Ведь именно они определяли магистральное направление развития русской классики, так как писали о народе — главном двигателе истории. И первым в этом направлении, на мой взгляд, всегда был и остаётся Василий Иванович Белов».

Владимир Крупин, писатель

* * *

«Когда в Японии у меня бывает плохо на душе, я закрываю глаза и шепчу: «Тимониха, Тимониха, Тимониха». И в сердце воцаряются покой и радость».

Ясуи Рёхэй, профессор, исследователь творчества

«Человек счастлив, пока у него есть Родина».

Василий Белов

«ВСЁ ВПЕРЕДИ» С БЕЛОВЫМ

• Окончание. Начало на 8–9-й стр.

Через два часа Вася на «петушке» набивал колею по снежной целине, «сибиряк» вырубал окно в просеке, водители, черпая туфлями снег, спускались толкать мою «Реношку». Сверху крестила теперь уже всех игуменья. А по белому полю, словно чёрные воронята, утопая в снегу, шли от Крестовоздвиженского монастыря монашки с бутылками воды...

Владимир ВОРОБЬЕВ

(Одесская область, г. Измаил)

АЛЬЦГЕЙМЕР

Из цикла «Невыдуманные истории»

ВНЕЗАПНО проснувшись, Евгений Ильич не сразу сообразил, где он и что с ним? Жуткое ощущение, что никак не может вспомнить своего имени и сколько лет живет на белом свете, ввергло сознание в панику и вздыбило остаток волос на голове. Такое с ним однажды уже случалось, и с той поры старик только и ждал повторения подобного казуса.

Года три тому, лежа на диване и читая книгу в ожидании прихода из школы внука, Евгений Ильич неожиданно осознал, что не может вспомнить его имени, и в каком классе парнишка учится. Попытки напрочь серое вещество не удались, а лишь усугубили ситуацию. Оказались напрочь забытыми номера телефонов, по которым он ежедневно звонил дочери и друзьям, а также какой нынче год, и куда ушла обещавшая вскоре возвратиться жена. Внутренне призывая себя не паниковать, а сосредоточиться, он начал вспоминать таблицу умножения, и это ему легко удалось. Без труда вспомнил он закон Ома и закон всемирного тяготения, и даже «рогатую» формулу дальности радиолокационного обнаружения. При этом Евгений Ильич ясно понимал не только физический смысл параметров, составляющих эти формулы, но и их возможные числовые значения. Это его несколько успокоило и даже приободрило — выходит, не вся память заблокирована, а лишь та ее часть, что ответственна за бытовую уровень, а потому дело, похоже, поправимо.

О текущем годе тогда он справился, взглянув на календарь, имя внука заставил произнести его самого, шутиво пригрозив не открывать двери, пока тот не представится по полной форме. Номера же телефонов вспомнил, лишь пролистав записную книжку. Однако к вечеру, как ему показалось, все стало на места, память восстановилась, и к случившемуся Евгений Ильич отнесся уже без особой

досады, иронично и философски — дескать, ничего не поделаешь, подкралась старость, и теперь только жди ее «выкидонов».

Но в этот раз ситуация оказалась куда тревожнее — Евгений Ильич не помнил себя! Молод или стар, учится или работает, есть ли у него семья, родители, дети, жена, дом и друзья? Он все забыл, и единственной реальностью, какую отчетливо, в деталях помнил в эту жуткую минуту, было ночное сновидение, в лабиринте которого еще недавно плутал его разгоряченный мозг.

Ему снился Христос! К чему бы? Ведь Евгений Ильич был убежденным атеистом. Он не верил в бога. Не верил давно и твердо, ибо еще в юности осознал противоречия между библейскими несуразницами и реальностями объективного мира. В отрицании божественной сущности его убеждала и несокрушимая логика великих мыслителей: Вольтера, Фейербаха, Александра Герцена, а позднее — Виталия Гинсбурга. С тем он и жил, не скрывая своих убеждений, но и, не ерничая над взглядами верующих, не делал малейшей попытки отвратить кого бы то ни было от того, что ему свято и дорого...

Христос сидел напротив в расслабленной позе, держа в руке палочку-камышинку, и неотступным взглядом, смотрел на Евгения Ильича. Взор его был прям, чист и участлив.

— Иисусе? Ты ли это и как здесь оказался? — спросил Евгений Ильич, ловя себя на мысли, что нисколько не смущен присутствием Господа, в существование которого не верил. — И почему ты со мной, а не с теми, кто жаждет твоих милостей? Их много, и они так тебя любят.

— Я с каждым, кто вызывает ко мне. Я — в вере их, и это дает страждущим надежды и силы, в коих и заключены божественные милости. И милости эти тем весомее и допустнее, чем крепче вера.

— Но ведь я не зывал...

— Ты спишь, и я снюсь тебе. И вовсе неважно, есть у тебя во мне нужда или нет. Я не делю людей по крепости веры. Мы — братья, и любовь моя одинакова ко всякому — верующему, заблудшему или отступнику. Не вера отличает людей, а греховность, потому и сказано «по делам судить буду».

— Когда же суд, Отче? Когда призвешь к ответу пакостников? Заполонили ведь свет, и верующих-то среди злодеев, поди, не меньше, чем атеистов. Выходит, не бояться они ни мук адových, ни суда твоего,— произнося эти слова, Евгений Ильич ощущал себя почти верующим и испытывал при этом незнакомые прежде волнение и душевный трепет.

— Всему свой срок, сын мой! Не торопи событий. Придет час, и воздастся! Никого не минует чаша сия. Никого! — Лицо Хри-

ста было покойно, взор ясный, и Евгений Ильич, даже во сне отчетливо понимавший, что перед ним — не реальная, не существующая личность, а лишь призрак, не мог отделаться от ощущения правдивости и искренности услышанного. И когда, чтобы посеять в сердце сомнение, чтоб укрепиться в мысли, что это действительно ничего не значащий сон, он мягко коснулся рукой колена Иисуса, и та беспрепятственно прошла сквозь одежду и плоть его, то это, к удивлению, только усилило уверенность — перед ним Сын божий.

— Не стоит испытывать сущность мою. Как всякий дух, я бестелесен, и образ, привычный взгляду христианина, принял затем лишь, чтоб не смущать рассудка твоего. «В беседе взору нужна опора», — говорили древние, и мудрость эту я чтил всегда, — безмятежный взгляд Христа чуть опечалился. — Как думаешь, зачем я здесь?

— Может, пришла пора помирять мне, и ты явился душою мою исповедовать, — после короткого раздумья ответил Евгений Ильич. — Слышал я от слуг божьих, будто все почившие предстают перед тобой, правда, не сразу, а лишь на девятый или сороковой день. И откуда только они все знают?

Впервые Христос улыбнулся. Улыбка вышла доброй, кроткой, и Евгений Ильич поразился белизне и красоте зубов Спасителя.

— Не стану скрывать — срок твой на исходе, но еще не завтра опустится занавес. А здесь я затем, чтоб открыть, как будет протекать остаток дней твоих. Люб ты мне, что не испоганил жизни своей ни кровью невинной, ни завистью темной, ни ложью коварной. И тем, что грехи твои не тягостны и не несли людям зла, или обид, коих простить нельзя было бы. Не омрачил ты души своей и неверием в меня, ибо заблуждался не по умыслу, а недомыслию. Мне бы наградить тебя, но не в праве мы вмешиваться в дела земные, менять течения судеб людских. А вот ведать о них все до последнего вздоха — в воле нашей,— взгляд Христа стал строже, сочувственней, и он продолжал:

— Конец дней своих обретешь, не узнав о том. Ни мук физических, ни страданий нравственных не почувствуешь, ибо память покинет мозг твой раньше, чем душа — плоть. Не просто тебе, умом славному, осознать данность сию, но смириться придется. Не ты первый, да и не сразу все случится...

При этих словах, словно от удара хлыста, и проснулся Евгений Ильич. Короткая досада, что так внезапно прервался сон, ясный и логичный, без причуд и нелепостей, так свойственных большинству сновидений, резко сменилась гнетущим страхом — ведь только что ему было напроорочено не что иное, как болезнь Альцгеймера. И то, что он не может вспомнить себя, лишь подтверждает это

И ПРИДУТ ВРЕМЕНА, И ИСПОЛНЯТСЯ СРОКИ

(Моя душа в Тимонихе)

Я ЖИЛ далеко, и потому мне не достались то случайные (но частые), то неперенные встречи с писателями, которые были родственны моей душе, с которыми хорошо и уютно куда-то ехать, сидеть в зале или на пирушке, гулять по старинной усадьбе или по городу. Теперь в старости я о такой многолетней потере жалею особенно, только это и осталось, потому что время исчезло, ничто не повторится, да и многих моих друзей-писателей уже нет на земле.

Жалею я и о том, что мало бывал на русском Севере, в той же Вологде. В моем скоросшивателе с газетными вырезками хранится сообщение, как плеяда русских писателей (их потом назовут «деревенщиками») собралась как-то во главе с А. Яшиным и дружно поплыла по Сухоне до Великого Устюга и еще куда-то. Помню, я эти строчки в «Литературной России»

прочитал с обидой: как же это я лишился счастья присутствовать в такой родной компании?! Поздние мои впечатления на вологодских просторах и показанные мне недавно фотографии того плавания только усилили мои прежние представления о северной стороне. Еще катера и пароходики гудели сигналами на великой Сухоне, деревни были погуще людьми, простоты было побольше, писатели еще не стали знаменитыми и в энциклопедии пока не попали. Все главные книги еще не написаны и все съезды писателей в Кремле и в Доме Союзов, где прозвучит столько разных речей и будет возможность потолкаться в коридорах и посудачить обо всем, впереди. Я запросто буду здороваться с автором повести «Привычное дело» и хвастаться ему, что впервые запомнил

• Окончание на 11-й стр.

жуткое пророчество. Альцгеймер! Прогрессирующее слабоумие, потеря памяти и интеллекта, необъяснимые приступы агрессии, кормление с ложечки, отправления под себя... И это уже началось?! Наполнившийся, участвовавший пульс молотом застучал в ушах, и пот, липкий и холодный, выступил по всему ослабшему телу. Евгений Ильич не помнил, сколько времени, точно придавленный отчаянием, пролежал, не шевелясь и тщетно призывая предавшую память вернуть его к реальности. Вернуть! И вскоре приученный к труду рассудок оформил вопрос, ответ на который еще предстояло найти. Почему, забыв себя, он без труда вспомнил немецкого врача с такой непростой фамилией? Почему не забылись симптомы жуткой болезни, название токсичного белка амилоида, формирующего бляшки, которые совместно с нейрофибрилярными клубками блокируют деятельность нейронов мозга? Почему? Ведь он не врач и знания эти приобрел из любопытства. И разве ж это не свидетельство того, что память жива, а сам он не болен?

В крошечной тьме рука непроизвольно нащупала кнопку светильника, и выхваченный из мрака привычный интерьер скромной спальни вернул страдальца к действительности.

Та же обстановка, плотно задернутые шторы, не пропускающие света уличных фонарей.

На обычном месте противоположной стены, по соседству с фотографиями близких висела большая литография полевого шедевра «Христос и грешница», по первоначальному замыслу художника звавшаяся «Кто из вас без греха?». Евгений Ильич купил эту литографию лет двадцать назад, плененный сюжетом картины, его мастерским воплощением и великолепным качеством репродукции. Сколько раз, вглядываясь в библейскую сценку, разворачивающуюся на фоне древнего бе-локаменного храма и мощных кипарисов, он проникался мыслью в то давно ушедшее время, в начало зарождения одной из могущественнейших религий, пытаясь оценить масштаб ее последующего значения для судеб людей, влияния на мировую культуру и ход Истории...

И тут произошло неожиданное. Евгений Ильич вдруг вспомнил про себя все, что и помнил накануне, и имя, и годы, и что сегодня, как и обещал вчера, должен быть в школе на родительском собрании внука. Похоже, память, очередной раз поугав, снова пришла в норму, и теперь остается только ждать ее очередного изворота.

«Так вот под влиянием чего зарождаются проделки спящего разума!» — теплая волна душевного спокойствия залила грудь Евгению Ильичу и, выключив ночник, он закрыл глаза со слабой надеждой снова уснуть и продлить прерванную беседу.

РЯДОМ С ВЕЛИКИМ

• Окончание. Начало на 10-й стр.

его фамилию из-за его повести «Деревня Бердяйка». Я прочитаю рассказ Евгения Носова «За лесами, за долами» о беловской Тимонихе, рассказ самого Белова «За тремя волоками» в том темно-зеленом томе, который он мне подарит, задолго до печатания эпопеи о крестьянстве прочту главы о деревне, похожей на Тимонику, затем, когда буду на Новый 1977 год в Вологде, Василий Иванович вдруг вскрикнет: «Давай, я свожу тебя в Тимонику!» (но не удастся), затем еще будем мы с Распутиным и Крупным загадывать, как бы нам отважиться и попариться в беловской баньке в Тимонихе, позднее сколько раз звал туда и на свою дачу (поблизости от Тимоники) Анатолий Заболоцкий, да сколько юбилеев (больших и малых) протекло (и каждый раз увозили гостей в Тимонику), да, наконец, в Краснодаре на выездном писательском Пленуме Василий Иванович при гробовой тишине горько признался благополучным казакам, что в его Тимонихе осталось... три жителя, и я, мечтаю о дальней скорбной глуши, об избе Анфисы Ивановны, все однако отодвигал и удлинял навеянный срок.

И только в 2011 году узнал я дорогу, по которой ходил и ездил Василий Иванович.

Еще ближе и понятней мне стал Белов, когда по той же дороге повез меня в Тимонику Михаил Карачев через грустные нелюдные деревни. Сиротское молчание полей, огородов, улиц, дворов, угадывание тоскливой тишины в избах, величая отдаленность от суетного тесного мира, мысли об отчужденности российских вельмож от народных переживаний воскрешали мне горестные странички прозы Василия Ивановича, его разговоры в узком кругу, его речи с высоких трибун, постоянную душевную заботу о благополучии родной стороны.

«Так вот где ты, Вася, ходил в Харовск, поближе и подальше,— говорил я ему в ту комнату, где он лежал на постели или сидел в коляске,— вот под каким северным сводом чувствовал ежeminутно и небеса, и лес, обитание в лесу зверья, и даже мышку полевую, и как матушка твоя Анфиса Ивановна пробиралась тут на телеге и так по ухамам и ямам, в дождь и в жару, а я-то, хоть и выросал возле коровьей стайки, но все же на краю города и бегал через Обь в театры, такого одиночества под небом не переживал.. Какая благодать одиночества... На сотни верст. Изо дня в день... Но и какая сиротливая печаль, которая самих чутких благословляет приникнуть к художественному обзору бытия.» Все дышит и звучит Божеским созерцанием.

То же таинственное течение слов рождала моя душа в Тимонихе.

«...Так вот этот дом... Вот из каких окон глядел он на траву, на снег... А это кухня... А кадка... И печка... И здесь вы, Василий Иванович, жили с сестренкой и братом, без отца... Я жил потеснее, у нас таких северных хором с сеновалом и прочим не было... Как здорово... И не московские же архитекторы проектировали, сами крестьянские мастера, а как все разумно, крепко, богатырски... И где ж ты, Вася, стихи-то первые писал?

«Привычное дело» за каким столом начинал? А у этого окна на улицу Анфиса Ивановна и выглядывала тебя, а ты откуда-то из-за границы или из Москвы долго не показывался на дороге... Э-эх, как тонко тут отзываются Русь наша, Россия, Север великий... Хочется еще раз перечитать все книги про Север... Ну, Василий Иванович, поругай меня, что я раньше не проводил Тимонику... Сейчас выпью за широким столом под твоим портретом, маслом кем-то написанным... Миша Карачев стихи свои почитает...»

Сожалю теперь, что не позвонил тогда по сотовому телефону Василию Ивановичу в Вологду, любые слова его теперь пришли бы в моих воспоминаниях как раз...

Было странно и печально, что мы ходим по его дому, крестьянскому деревянному дворцу, без него, он лежит в городской квартире или, когда кто-то близкий за-

явится, выезжает к столу в коляске. Без него я поднимаюсь в самую верхнюю комнату и хоронюсь там надолго, так что меня уже испуганно стали искать по всему дому и вокруг него: куда пропал? Не передать мне, каким северным вековым эхом словно озоновым ароматом, дышала моя ... душа, как я почувствовал лишний раз беловское родство с каждой травинкой, как позавидовал я ему, что ему вложено, завещано было корневое почвенное наследие, а я все-таки полугородской, полудеревенский, оттого и легковесный какой-то, неполноценный в своем писании. А задержался я из-за тоненьких журналов царского времени, прочитал случайные строчки и уже не мог оторваться, прямо породнился завистливо с теми, о ком писалось.

«Пока хозяин не шелкнет ложкой по краю блюда, никто не берет из шей накрошенной говядины».

«...высокая трава, обилие цветов, тысячи комаров и все весенние звуки, начинающая с соловьиной трели и кончая боем перепелов, дерганьем коростеля и унылым криком кукушки...»

Я сидел, ходил, обглядывал углы так удивленно, как и в усадьбах Пушкина, Лермонтова, Есенина, как в высоких избах музея под открытым небом под Вологдой: вот как жили... Между тем я еще думал, что Василий Белов томится сейчас в Вологде.

Анатолий Заболоцкий сводил меня в сторонку от деревни, туда, где белый храм и могила Анфисы Ивановны.

— Боже мой,— сказал я и Заболоцкому, и себе, и, кажется, всему миру живому,— да почему же все так скоро кончается... Моей матери нет со мной двенадцать лет. Лежит в Тамани.

В 1970 году, когда приезжал обмывать переселение В. Астафьева в Вологду из Перми, Белов после гулянки забрал меня ночевать к себе, и вот тогда белесая Анфиса Ивановна, расспросив меня о матери, робко посоветовала: «Береги ее хорошенько...»

В 1976 году мне запомнилось мгновение на берегу реки, там, где теперь скамейка с бронзовым баяном и стихами Рубцова. Мы родственно, старомодно говорили о русских государях, о том, как Иоанн Грозный чуть не перенес столицу в Вологду, пожалели убиенную последнюю на Русской земле царскую семью, даже сблизилась теснее, чем были до этого, будто благословил нас кто на такое ветхое родство, совсем утерянное после революции. Такие минуты дарил мне только Олег Михайлов в Москве и в Коктебеле.

В декабре он обеспечил мне своим влиянием покупку желанной дубленки, которую я протаскал потом лет двадцать. Я задержался в городе на новгородном елку.

«Один год жизни это так мно-ого...— ответил Василий Иванович 31 декабря на мое поздравление по телефону...— Год ... его еще надо прожить...»

Простую, вроде бы, истину я тревожно запомнил как предостерегающую мудрость.

И вот приспел 80-летний юбилей прикованного к одру болезни писателя. Опасаясь, что в будущем мне дороги в Вологду не проложить, я поехал поздравить Василия Ивановича и в сокровенной тайне проститься с ним. Что ж, не надеюсь уже на свое благополучие и твердые ноги. Поеду.

В Москве уселись в вагон немалой гурьбой. Выпили, заговорили про то же русское, что и всегда. Опять пеленалось в душе чувство сиротства, ненужности ветреному обществу, властям. В доме Пашкова (при Российской библиотеке) уж чересчур скромно и буднично, без участия высоких государственных мужей, без «сливок культуры» отмечалось 80-летие того В. Белова, который, как и В. Шукшин, Ф. Абрамов, Е. Носов, В. Распутин, не перевертывался во время заговоров, а оставался с русским народом. Все русское почему-то смущает верхи, нет открытого всегласного признания тысячелетних заповедей, верности родным колодцам и праведным обрядам; некоторые русские знаменитости бояться засветиться в кругу резких отважных единоверцев и исповедуются в братстве на тихую. Постное поздравление президента считывали с какой-то тетрадки (так, по крайней мере,

показалось), и я подумал, что его, наверно, вообще сочинили второпях и президенту не показали. Но на трапезе родство свое мы нашли, постояли друг возле дружки без всякой оглядки, обнялись душой, говорили о Василии Ивановиче, опавшем в постель уже надолго. В большое широкое окно проглядывался Кремль, его угловая башня, все архитектурные узоры, и от давнишнего его вида, от мгновенных пролетных воспоминаний о царях и боярах душу как-то заветно шемило, и она, душа-то русская, еще тоньше благодарила всех, кто умел во всякую пору воспевать и хранить отчину.

Поехали в Тимонику на большом автобусе, заглянули в Харовск на руководящий прием, затем повторилась для меня вчерашняя (прошлогдняя) дорога мимо высоких, опять таких скорбящих изб, полей по бокам, мимо застывшего не тронутого одиночества вокруг.

Я попросил Мишу Карачева прочитать что-нибудь свое. Он долго отказывался.

— Еще черновое.

*Это зыбкое время земное
Не удержит меня на земле.
Все прощается. Тает родное.
Стынут печи в забытом жилище...*

Дальше он читать не стал; мы подъезжали.

«Здравствуй, Тимониха...» — сказал я про себя, увидев табличку с названием на правой стороне. Поворотили налево, чуть поднялись — тотчас завиднелся темный дом Василия Ивановича.

«А его с нами нет...— кольнуло меня.— Он в Вологде лежит на низкой постели словно безнадежный. Наверное, думал, как «они едут... уже, видимо, в Тимонихе... бабы все приготовили... угостят...»

Северянки ждали на кухне с улыбкой. Длинный стол был накрыт руками женщин из ближней Азлы. Мужья строго и смиренно сидели в углу, помогали, видать, кое в чем с утра. Все во мне ныло сожалением. Жизнь прошла. Не будет того, что за этими окнами и по дальним околицам переливалось из века в век. Не придет сюда больше Василий Белов, не сядет на лавку, не заснет под голосок сверчка. Тяжело ему двигаться. Вологда приневолила его на несчастье. В родной избе и болеть было бы легче. Теперь эти углы будут обходить все, кроме него и Анфисы Ивановны. Я видел ее два раза, и она сразу стала мне такой же, как мои родные тети и двоюродные сестры, как соседи. В сибирской повести я нечаянно дал матушке своей имя Физа (Анфиса). Эту повесть Вася показывал матери. Он и мою матушку видел в Пересыпи в постели. Мы ехали в Тамань, и завернули в поселке на улицу Чапаева.

Все это пережитое, носимое памятью, кружилось мошками возле меня до самого вечера.

Заглядывал ли я в баньку, спускался ли вниз к глухим пядям, глядел ли на землячек писателя, молча стоявших за нашими столами и с улыбкой на нас глядевших, слушал ли северные песни в исполнении Владимира Личутина, читал ли журнал «Охота» в верхней светелке — все тоненько преследовало меня одним и тем же сожалением: «А Василия Ивановича за столом с нами нет...»

В прошлую осень елецкие мои друзья, проводники в бунинские пенаты, Александр и Владимир, забрали меня в Ясную Поляну, и мы мимо Москвы подались на машине в Вологду. В путевую тетрадь я заносил названия селений: Зверинцы, Сандырево, Звонкая, Заболотье, Пречистое, Любим, Обнорская слобода, Талица. Все русское, давнишнее, намекающее на то, какими были целые века. И закралась между названиями запись: «Облака над мелколесьем, серый денек, машины снуют по дороге, песни по радио, и мы второе спели «На тропе» (на слова Николая Палькина, уже покойного), и когда пели, вспомнилось, как пели на те же слова, возвращаясь из Тимоники.

*На тропе,
На тропинке, луной запорошенной,
Были встечи у нас горячи.
Не ходи,
Не ходи ты за мною, хороший мой,
И в окошко мое не стучи...*

— А их уже нет,— прокричал я обиженно.— Слышите, елецкие? Нет их! Ни Белова, ни Распутина. Ни Палькина Николая Егоровича. Это его слова. Из Саратова он.

Как он радовался, уже больной, умирающий, когда я ему сказал, что мы были у Белова, и вот распеваем с умилением твою песню, Николай Егорович, милый наш волгарь; я послал ему потом видеодиск с нашим пением, ты же помнишь, Александр Васильевич, как мы приехали вечером, и в Союзе писателей на Комсомольском, в кабинете у Котьяло, где по стенам портреты Эрика Сафонова, Юрия Селезнева, Сережи Лыкошина, Вали Распутина, ты с дочкой Лыкошина, Анечкой, пел под баян, а я снимал «на цифру» и что-то лопотал про Палькина. Это теперь сохранится навсегда. Надеюсь. По-моему, я и Распутину показывал. «На тропе, на тропинке, луной запорошенной...» Она стала народной. Да, да, братцы мои, мы пели в сумерки в пустом Союзе писателей, только что прибыли с вокзала в этот родной «дом колхозника», где всегда у Ганичева можно обогреться и даже переспать на потертом кожаном черном диване, прошли в кабинет по коридору, где тоже на стене портрет Белова маслом, и опять было грустно, что он обреченно болеет в Вологде, не топчется с нами как бывало, и мы только что прощались с ним, позавчера обедали, вчера гуляли в его честь в Тимонихе, и вот одни в этой великой и чужой Москве, спасибо Анечке, что встретила нас и лихо подвезла на своей машине (ее голые кончики пальцев в прорезях перчаток я еще опишу), и мы не выпили, но запели Палькина, стали звонить ему. А их уже нету. Как грустно. Все меньше нас. Мы все-таки, как ни крути, одной плеяды. Кто крупнее, кто пониже, попроще, но закуска одна: сельская, почвенная, сиротско-русская. Феликс Кузнецов (сам из Тотмы) на съезде писателей в Орле назвал это поколение ... последним. Вот так. Плакальщики (так терзает их Палиевский) будут другие. Или их не будет вовсе. Европа чадом пролезет в душу. Зверинцы, Обнорская слобода, Заболотье... И этого не будет. Уже в Тимонихе некому выглядывать на дорогу, ждать. (читали Васин рассказ «Зов родины») Едем нынче, а Белова в Вологде уже нет. Тоскливо. И сколько тоскует родимых мест. Но не вернутся к гнездам хоть на денек великие дети. Не появятся в Сростках В. Шукшин, в Верколе Ф. Абрамов, на Старом Арбате и в Абрамцеве Ю. Казаков, в Алепине В. Солоухин, во Владимире С. Никитин, на канале Грибоедова в Петербурге Г. Горышин, в Аталанке В. Распутин. И пойду я завтра по улицам Вологды, стану там, где мы говорили с Василием Ивановичем в семьдесят шестом-то году (в самый разгар «развитого социализма») о... дочерях Государя, о наследнике цесаревича, жалели их, материли всех троцких и свердловых, постою у памятника Батюшкову, потрогаю коленку бронзовой музы, куплю в память о Белове плетеную большую корзинку, полюбуюсь речною дугою и церковью на том берегу и проеду к Спасо-Прилуцкому монастырю, где сперва хотели положить Василия Ивановича, коснусь рукой острой ограды на могиле Батюшкова, поеду в музей деревянного зодчества... и все буду думать, что в доме на улице Октябрьской, где, вроде, совсем недавно терпеливая Ольга Сергеевна выдерживала наши долгие «вечные речи», а Василий Иванович мельком спросил о Тамани и Пересыпи, теперь странная музейная пустота, что «и придут времена и исполнятся сроки» и мои годы тоже уже оседают на горизонте. Все уже живет без Белова. Через десять минут будем въезжать в Вологду, и скорбь сама напросится на уста: а Белова в Вологде нет. С кем я старомодно и по-домашнему поговорю о монархии? И живет ли тут хоть один русский человек, который любит родственно беседовать о великих князьях, о государе Иоанне Грозном, в какой раз жалеть невинных царских дочерей и наследника, как умел этим жить и сочувствовать писатель, родившийся позже в маленькой северной деревеньке Тимонихе?

Виктор ЛИХОНОСОВ,
лауреат Государственной премии РСФСР им. М. Горького.
(Июль 2017)
быв. Екатеринбург

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Александр РОМАНОВ

Романов Александр Александрович (1930–1999) родился в дер. Петряево Сокольского района Вологодской области. Окончил местную школу, затем Вологодский педагогический институт, позднее Высшие литературные курсы в Москве. Судьба распорядилась так, что с молодости и, как говорится, до седых волос А. А. Романова связывала истинная дружба с Василием Ивановичем Беловым. Именно ему Василий Иванович посвятил один из потрясающих по своей художественной силе рассказов «Весна». Делился с другом замыслами. А. А. Романов вспоминает: «...однажды (Василий Иванович) мне говорит: «Поеду к себе в Тимониху, надо написать повесть, пусть меня не беспокоят». Уехал и через месяц вернулся (я удивился: как скоро!) с рукописью повести «Привычное дело». Читал я — и слов у меня не было: то слезы наворачивались на глаза, то смех облегчал душу, то горькая боль саднила сердце, то все мое существо поднималось в ветровое российское небо».

А. А. Романов — автор более двадцати книг стихов и прозы, из которых особо следует отметить книги «Русь уходит в нас», а также том «Избранного», составленный из лучших стихов поэта. Награжден премией А. Я. Яшина, орденом «Знак Почета». Член Союза писателей с 1959 года, А. Романов стоял у истоков создания Вологодской писательской организации. Одиннадцать лет он был ответственным секретарем организации, долгое время входил в Приемную комиссию Союза писателей. Именно при Александре Александровиче Романове Вологодская писательская организация приобрела тот авторитет, который и сегодня позволяет ее считать одной из ведущих писательских организаций России.



ДРУЖБЫ НАШЕЙ ТАМ НАЧАЛО

Василию Белову

С Ярославского вокзала,
С Ленинградского вокзала
В ночь уходят поезда...
Ты чего лицо туманишь,
Ты чего грустишь, товарищ?
Семь рублей — и мы на полке
И опять туда, туда,
Где висит на каждой елке
Синим филином звезда.
У курносой, белолицей
Нашей местной проводницы
Чаю крепкого заvara
Мы попросим, а потом,
Прислонясь к ветрам спиной,
На полтыщи верст длиною
Мы беседу завернем...
Нас в дорогах покачало,
Дружбы нашей там начало.
Отчего же зародилась —
Как сказать наверняка?
Может, жаркая частушка
Озорно и простодушно
Огоньком сердца задела —
И пошло от огонька.
Разговаривают рельсы:
«Разгорелся, разгорелся...»
И уносятся, струясь.
А колеса подпевают:
«Жарче, жарче не бывает,
Чем на Севере у нас...»
Утро медленно краснеет.
Здравствуй, батюшка наш Север!
Ты гостей, конечно, ждал.
Он шагает нам навстречу,
Развернув огромно плечи
От железного Урала
До гранитных финских скал.
Он в зеленой телегрейке,
Строгий, жилистый и крепкий,
Весь от инея седой,
Шапку низко нахлобучив
Из мехов из самых лучших
И с Полярною звездой!
Звездный свет нам в лица сеет
Милый Север, добрый Север...
Мы выходим в знобкий тамбур,
В свет застенчивой зари,
И курносой, белолицей
Нашей местной проводнице
Мы стаканы возвращаем
И за чай благодарим.

ГАРМОНЬ

Василию Белову
Красно застолье
От жарких лиц.
Стулья стонут
От молодич.
А мой товарищ

Грустит опять:
«Где, не знаешь,
Гармонью взять?»
Гармонью? Сразу
От слов таких
Крикливый праздник
На миг затих.
А ну, хозяйка,
Поуважай:
Сходи, узнай-ка
По этажам.
Ох, досталось,
Сбилась с ног.
И вот — как радость
И как упрек,
Плывет гармония,
Как ночь, черна.
Чуть-чуть затронут,
Вздохнет она.
«А ну, товарищ, —
Все ожили, —
Сыграй. Но знаешь —
Хорошее...»
Коснулся ухом —
Прохладен лак.
Запела глухо,
Несмело так —
И вдруг как ахнет
Гармония,
Сверкнув мехами,
Как молния.
Заулыбались
Все перед ней:
Все оказались
Из деревень!
Вот это было
Свидание!
В глазах поплыло
Все давнее,
Все первое,
Все розовое,
Все вербное,
Все березовое,
Все скорбное,
Все наивное...
Эх, гармония,
Пой, милая!
С душ неверных
Сбивай-ка спесь:
У нас деревня
У всех — вот здесь!
В глаза рябило,
Как вновь в избе.
Кому-то было
Не по себе.
А кто-то сдвинул
Стулья вдруг
И, ветром взвитый,
Как ястреб, — в круг!
Эх, полы, полы,
Нас попомните.

До чего же малы
Нынче комнаты!
И так и сяк,
А потом эдак,
И еще вот так
Напоследок!
Огнем рождена
Наша нация.
А гармонь, она —
Агитация.
Но зови не зови —
Дело зряшное:
Затухает в крови
Все вчерашнее,
Все первое,
Все розовое,
Все вербное,
Все березовое.
А пляшется с жаром —
Так это опять
Худое со старым
Хотим истоптать!
...За окнами — город.
Дома в тени.
Значит, скоро
Взойдут огни.
И в комнате снова
В углу радио
Вспыхнет зеленой
Виноградиной.

ОЧКИ ВАСИЛИЯ БЕЛОВА

Белов нас трезвее и строже.
В прищурах зрачки — что крючки.
И памятьлив он... Только все же
Забыл он однажды очки.
Ушел второпях и оставил.
И шаг непреклонный затих...
Взглянул я: оправа простая,
Но, может быть, зорче моих?
Ведь в книгах Василий Иванович
Так зорок, приметлив, глубок,
Что мир, опрокинутый навзничь,
Горит от правдивости строк...
И вот я, очки примеряя,
Гляжу, будто в две полныни.
Не вижу ни ада, ни рая,
А вижу лишь слезы свои.
Так больно от этих диоптрий,
Что вытерпеть не было сил.
И мир этот — злобный и добрый
Слезами едино омыл...

РАЗДУМЬЯ

над романом Василия Белова
«Год великого перелома»

Оглянусь и знобко стыну:
Век двадцатый позади...
Мне, земли российской сыну,
Брать ли поприще судьи?
Упрекать ли Русь родную
За ее разбитый путь?
С ней беду перебуду,
Не сбегу куда-нибудь.
Память родины нетленна!..
Широко у нас росло
И до третьего колена
В семьях правило родство.
Девоч сватали не с ходу —
Не за голый батожок,
А к значительному роду
И на хлебный бережок.
А, случись, беда какая,
То, с надеждой на Христа,
Выручала вековая
Власть мужицкого родства.
...Эти древние уставы
Мы, отступники, сожгли.
Мы предателями стали
Святоотческой земли.
И чужая власть и нежить
Всю Россию растрясла...
Где же Родина? И где же
Колесо того родства?
А оно, попав под выброс,
Выбилось из борозды
И, ломаясь, покатилося
Мимо поля и избы.
Покатилося с громом, с треском
Из родимых палестин
В причитанный деревенском
В раскулаченную стынью...
И поныне те злодеи
Рвутся к власти неспроста.
Что ж мы в горе холодеем?
Встанем, встанем в круг родства!

И вот, наконец, окупались
Тревоги покоем души.
Шары золотые купальниц
Плывут в деревенской тиши.

И я не могу надивиться,
Что даже в такой солнцепек
От свежих купальниц струится
Атласный сырой холодок.

И пахнет в безоблачный полдень
Дождем грозовым и еще...
Ну чем же, ну чем? Ах, припомнил —
Прохладою девичьих щек!

А сердце мгновению радо:
Лишь запах, лишь звук или вид —
И сразу подскажет что надо,
Что было — опять оживит...

В зеленые годы иду я
И вижу чуть-чуть в стороне
Тебя, до того молодую,
Что даже не верится мне.

Ты трогаешь косы смущенно,
И я от смущенья затих.
Пылают от близости щеки,
И свежестью веет от них.

И сердцу не надо иного,
Чем это касанье щеки,
Чем запах дождя грозового,
И луга, и близкой реки...

Умываюсь туманами севера,
Поднимаюсь легко на бугры,
И мне под ноги катятся клевера
Фиолетовые шары.
А заря, словно красная мельница,
Мне опашивает лицо.
Горизонт уплывает и светится,
Как березовое кольцо.
В спелой ржи, будто вытканы, вышиты,
То возникнут, то пропадут —
Голубеют старинными крышами
Деревеньки и там и тут.
Здесь моя деревянная отчина.
Пусть я житель и городской,
А душе, кроме всякого прочего,
Позарез нужен край такой.
Не из тех я прохожих нечаянных,
Что заглянут на ночь одну
И у вдов, умудренных печалью,
Ищут старую старину.
И хозяйки в домах удивляются:
Было время — просили кусок,
А теперь — то икону, то пряслицу,
То ручного тканья пояска.
И в цене не стоят — лишь скажите им,
Но теряются бабы тут:
Нет цены оценить пережитое,
И задаром все отдают.
Мне ж чего покупать, если родиной,
Стариной ее, новизной
Существо моё переполнено,
Будто небо голубишной.
Всё волнует: и травы шумные,
Свет реки и тень камыша.
Здесь опять невольно подумаю:
Что ж такое это — душа?
Не приемник с чувствительной силою,
Чтоб включить и настроить мог,
Не березовый лист, не осиновый,
Не старинный какой кузовок.
А поет, и грустит, и дрожит она,
И я думаю неспроста,
Что душа — глубина пережитого,
Непрожитого высота.

КРУГОМ ВОДА СИЛЬНА,
НЕТОРОПЛИВА

Кругом вода сильна, нетороплива,
Заката краски сдержанно-пестры.
То тут, то там раскидистые ивы
Горят в лучах, как желтые костры.
За ними, как туманные полосы,
Стоят в воде ольховые кусты,
И моются застенчиво берёзки,
Хотя безукоризненно чисты.
И каждый ствол, и каждый голый кустик
В себе уверен, ждет поры такой,
Когда и он торжественно распустит,
Раскинет зонт зелёный над собой.
...И мы с тобой, товарищ, верим тоже,
Когда вокруг восторженно глядим,
Что лучший день у нас ещё не прожит,
Что всё-таки он где-то впереди.

Адрес издания: literator35.ru

Адрес электронной почты: ioann-7772006@yandex.ru

Издание подготовлено к печати при поддержке депутата ГД РФ Е. Б. Шулепова.

Главный редактор А. А. Цыганов.

Редакционная коллегия: С. П. Багров, Р. А. Балакшин, В. Н. Бараков, М. И. Карачев, О. И. Ларионов, Ю. М. Максим, О. А. Фокина.

Редакция в переписку с авторами не вступает, рукописи не рецензирует и не возвращает, а также не имеет возможности выплачивать вознаграждение за опубликованные материалы.

Тираж издания 1000 экз.

В розницу цена свободная.

Издание Вологодского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз писателей России».

Адрес: 160000, г. Вологда, ул. Герцена, 36.

Номер сверстан и отпечатан в ООО ПФ «Полиграф-Периодика». 160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3. Зак. 1556. Подписан в печать по графику: в 12.00, фактически — 20.10.2017 г. в 12.00. Выход в свет — 23.10.2017 г.